





Л. ДАВЫДЫЧЕВ

ДУША НЕ НА СВО- ЁМ МЕСТЕ

СЕМЬ ТЕТРАДЕЙ
РАССКАЗОВ



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕРМЬ — 1965

Заголовок „Душа не на своем месте“ очень не случаен для этой книги. Автор рассказов Лев Иванович Давыдычев пишет о событиях в жизни своих героев с большим участием, болью, — когда им тяжело или они опрометчиво поступают и ошибаются; с радостью и теплотой, когда им хорошо. О чистоте человеческих отношений, о честности в любви и дружбе говорится в рассказах.

Имя Л. И. Давыдычева хорошо знают читатели на Урале и в других местах страны, помнят его книги „Трудная любовь“, „Почему плакала девочка“, „Гул дальних поездов“ и другие. Знают его и как драматурга — его пьесы „Когда переживает дороги“, „Аллочка“, „Будь здоров“. Ребятишкам очень понравились его книги „Друзья мои, приятели“, „Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника“, „Лелишна из третьего подъезда“ и другие.

В этой книге собраны рассказы разных лет, с 1957 по 1964 год. Многие были напечатаны ранее, часть публикуется впервые.

Художник **В. Петров**



ТЕТРАДЬ
ПЕРВАЯ

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА ВСЕ



СЛУЧАЙНЫЙ СПУТНИК

Глядя в темноту за вагонным окном, он вздыхал. Вздыхала и толстененькая проводница с черненькими глазами-бусинками.

На пятый день пути она не выдержала, подошла и спросила:

— Почему не спите?

— Не спится, — ответил парень. — А вам, верно, спать хочется?

— Ой, что вы! Совсем нет. Я привычная. Я могу по трое суток на ногах, и ничего со мной не будет.

— Занятная у вас работа, — грустно сказал парень, по-прежнему глядя в окно. — Новых людей много видите.

— Плохо это! — призналась она. — Только познакомишься, а и расставаться пора. Кто на станции сойдет, кто — на разъезде, а кто и на ходу выпрыгнет.

— А кто-нибудь когда-нибудь и вас с собой возьмет, — в шутку ответил парень.

Проводница нахмурила полукруглые тонкие брови и проговорила:

— Анюта из мягкого за моряка вышла. Коренастый такой. С гитарой. Играть, правда, не умеет, но у него самоучитель есть. Научится.

— Будет и у вас моряк, — опять пошутил он.

— Моряк...— она недоверчиво усмехнулась.— Не обязательно моряк. Да я их и не уважаю. Пьют они и хвастливые.

Парень постоял еще немного и ушел в купе. Проводница, прикоснувшись руками к тому месту рамы, где недавно были его ладони, пыталась ощутить тепло. Она едва не расплакалась оттого, что рама оказалась холодной, достала карманное зеркальце, с опаской взглянула на свое отражение и робко подумала: а вдруг случится чудо и в зеркальце появится красивое лицо... Увы, чуда не случилось, и она ногтем царапала крупные веснушки, словно надеялась сколупнуть их...

Была она влюбчива и все ждала, что и в нее кто-нибудь влюбится из пассажиров. У нее уже была заготовлена фотография (без веснушек) с надписью на обороте: «Кого люблю, тому дарю».

Только не выпало еще случая подарить фотографию кому-нибудь, а дарить подружкам надоело. Легкомысленная и доверчивая, добрая, она думала, что люди влюбляются быстро — вот так, как она, в поезде, за несколько дней. У нее болело сердце, когда она думала, что не найдет утешения в своей тоскливой жизни, что все будут беззлобно смеяться над ее веснушками, но никто не приласкает.

Парень снова вышел из купе. Проводница вспомнила, что он едет до Шумихи. Значит, ему обратно по шпалам километров двадцать топать.

— И чего вы не спите? — спросила она.

— Вот окончил техникум, — словно не рас-

слышав вопроса, грустно произнес парень, — еду работать. Страшновато. С друзьями расстался, а вдруг больше хороших людей не встречу?

— Хороших людей много, — убежденно проговорила девушка. — Только всё красивых ищут. А ведь не все красивыми родились.

Парень улыбнулся и ответил:

— Ерунда. Все люди красивые, в общем-то. Как полюбите, так и сами закруситее.

Она приняла его слова за шутку и тоже улыбнулась. Но парень не смеялся.

И она поверила.

— Вот так, — глядя в темноту за вагонным окном, сказал парень.

На этом перегоне состав вел Алешка Пахомов, насмешник и анекдотчик. Проводница была готова перенести любые насмешки, выслушать хоть десяток анекдотов, от которых уши горят, стерпеть и то, что Алешка рукам волю дает, только бы у Шумихи поезд шел помедленнее, чтобы парень мог спрыгнуть.

Выслушав ее, Алешка удивленно проворчал:

— С ума попятилась. Свихнулась.

Может, он заметил в ее глазах не просто просьбу, а мольбу, может, ему передалось трепетное биение ее сердца, и он сказал уже спокойнее:

— А мне потом по этому замечательному месту начальство, знаешь, как трахнет? —

И Алешка показал руками сразу на два места — на шею и ниже спины. — Тогда что? Тогда прощай, мой поезд, веду в последний рейс.

Проводница больше ничего не говорила, только смотрела на него. Алешка воспользовался случаем и шлепнул ее по одному из тех мест, по которому его самого могло ударить начальство.

Проводница словно не заметила.

И Алешка, повиснув на поручнях, крикнул:

— Не сносить тебе головы, девка!

С завистью у него это получилось.

Виноватой вернулась девушка в вагон. Парень спал. Она несколько раз прошла мимо открытой двери купе.

Стучали колеса.

Летело время.

Наконец она решилась: достала фотографию, прочитала надпись на обороте, кивнула и засунула в карман плаща, который висел у двери... Кто знает, может, когда затоскует в незнакомом поселке, найдет эту фотографию и поймет, что есть у него еще один друг? Может, и обрадуется хоть на минутку?

Вагон спал.

Промелькнули огни Шумихи.

Девушка думала о том, чтобы не зареветь, когда надо будет прощаться.

А парень думал о том, как трудно придется ему на новом месте. И лицо у него было растерянное.

Поезд будто ткнулся во что-то — остановился. Проводница спрыгнула на перрон, а парень стоял не двигаясь, с недоверием глядя на огоньки маленького вокзала.

— Приехали, — со вздохом выговорила девушка, — счастливо вам.

Парень спустился по ступенькам, протянул руку, сказал:

— Спасибо.

Она решила, что он благодарит ее просто так — как пассажир проводника.

— И вам спасибо, — прошептала она.

— А мне-то за что? — недоуменно спросил парень.

— Да так... — слабым голосом отозвалась девушка. — Хорошо мне было. Вроде бы...

И он вспомнил, что дорога оказалась не такой уж длинной. Засунул руку в карман и — вытащил фотографию.

— Это вам на память, — торопливо прошептала девушка. — На память. От меня.

Он задумчиво молчал, держа фотографию в руке.

И девушка поняла, что не нужна она ему ни-сколечко. Поняла это и не заплакала. Даже не обиделась.

Парень положил фотографию в карман и сказал:

— Спасибо.

И девушка проговорила:

— Спасибо.

Они еще не понимали, за что благодарят друг друга, но когда поезд тронулся с места, лицо у парня было не растерянное, а сосредоточенное...

1957 г.

ВОЙНА ПРОШЛА...

Голосили громко, во всю силу. Ревели сидя, утираясь подолами. Стоял только однорукий Силантьев, председатель колхоза, и его коричневое лицо с выгоревшими бровями было виноватым, будто он сожалел о том, что не имеет права разреветься вот так же.

— Тише, бабы, — повторял он, — тише, дуры вы... да ладно вам... в войну не ревели, а тут... ну, хватит...

После каждой его просьбы женщины на мгновение умолкали, словно лишь для того, чтобы передохнуть, и снова начинали голосить пуще прежнего.

Лицо Силантьева из виноватого стало растерянным, потом жалобным, и наконец он крикнул, чтобы вытолкнуть из горла сухой комок слез:

— Хватит, так вашу!..

Замолчали. Только Верка судорожно всхлипывала, и сильные, раскинутые в стороны груди ее при этом подпрыгивали. Сидела она отдельно от других, ревела громче всех, жалобнее, но никто не смотрел на нее.

— Верка! — Силантьев постучал по столу ребром ладони.

Верка замолчала и лишь часто вздрагивала.

Председатель обвел притихших женщин долгим взглядом, вздохнул, погладил нашивки за ранения и сказал тонким, срывающимся голосом:

— Встретим наших героев так, чтобы... — и отвернулся к окну.

— Пусти слезу, не держи, — посоветовала Таисья, высокая, сухопарая женщина с черными тоскливыми глазами. — Свои здесь, реви.

— Придумаешь тоже, — пробормотал Силантьев. — И вам нечего реветь. Хохотать надо.

— Дак припомнилось! — тихо воскликнула Верка. — Вот и прорвалось!

— Чья бы корова мычала... — строго начала Таисья, но председатель торжественным тоном перебил:

— Встретим наших героев так, чтобы... И огурцы там разные, и капуста, ну, и сами понимаете... Доложим им, что на колхозных полях сил своих не жалели, что чести своей не роняли, что...

Верка снова взвыла, да так жалобно, что Таисья сказала почти дружелюбно:

— Всяко, в общем, бывало, а выжили... И не завтра они домой вернутся, а еще когда...

Расходились медленно, чувствуя великую потребность быть вместе, и в то же время тянуло к ребятишкам, в избы.

Верка шла за Таисьей. Шли молча.

— И меня, и его прибьет, — убежденно сказала Верка.

— Тебя-то надо бы, — сумрачно согласилась Таисья. — Гуляла когда, весело было. Теперь бока подставляй.

— От радости я, что ли? — крикнула Верка.—
Время какое было, вспомни! И есть охота было, и страшно одной-то в пустой-то избе! Голодно! Холодно! Темно! У тебя ребята, а я одна... Со страху ведь!.. Ничего, ничего, — угрожающе продолжала она, — в лесу осин много. Выберу, которая покрепче, и... — Верка замолчала, сама, видно, испугавшись своей решимости. А шла она вразвалочку, бедра ее весело перекачивались.

— Ванюшку жалко! — снова крикнула она.

— Его не тронет, — тихо возразила Таисья. — Тебя поколотит... Так тебя, верно, и бить-то приятно: здоровая ты.

— Ага, ага, — вся просияв, согласилась Верка, — мягкая я... Со страху ведь я, — жалобно повторила она, — не от радости. У нас в родне гулящих не было. Да и чего уж слова-то выбирать! Не гуляла я, а подрабатывала! — и тоненько завсхлипывала.

Таисья шла, держа руки полусогнутыми, будто приготовившись взять ношу.

— Не я тебе судья, не меня ты боишься, не меня и уговаривай, — сказала она и свернула к своей избе.

Изба добротная, перед самой войной сложенная. Чисто в ней и пусто, и тишина здесь гулкая, даже скрип половиц режет слух, пугает. Таисья легла на широкую лавку головой к двери, чтобы не прозевать, когда прибегут ребяташки, но заснуть не могла. Ощущение голода было привычным, она его почти не замечала, и с места ее подняло какое-то смутное, незнакомое волнение.

Она умылась, переоделась в чистое, всунула разбитые ступни в брезентовые туфли, заходила по избе, будто искала чего-то.

Не сразу поняла Таисья, что это радость не дает ей покоя. Прав Силантьев: всю войну терпели, доведенные голодом иногда до отупения, жили машинально, работали, а произошла победа — взвыли. Будто только сейчас уразумели, из какой беды выкарабкались.

Война-то далеко от этих мест была. Люди здесь если и умирали, то не часто, по одному и долго.

Не выдержала Верка, два года сытая жила. Плевали ей вслед женщины, называли не иначе, как коротким, хлестким словом. Оттого и работала Верка зло, может, и побольше других. Когда родился Ванюшка, принесли ей бесценные дары — зерно, картошку, молока выписали.

Вспомнив об этом, Таисья чуть было не заревела, но пришел Силантьев.

Он ловко свернул одной рукой «козью ножку», насыпал в нее самосада. Таисья стальным бруском о кремь выбила искру на нитяной фитиль. Председатель закурил, сказал:

— Сама, конечно, понимаешь: на фронтеazole каждого смерть дежурит, ну и... разве осудишь солдата? Другое дело — ваш брат в тылу... Тут это... ну, обидно солдату, когда... Ну, вот мне хорошо, я до женской части не охотник...

— От меня-то чего тебе надо?

Силантьев поперхнулся дымом и сказал:

— Испортит нам Верка праздник.

— Я ей не защита!—сурово ответила Таисья.— Ей война на два года короче вышла, чем нам. Она...

— Правильные твои слова, — осторожно перебил Силантьев. — Только должен я тебе доложить, что война — это не только пули, пушки да пал смертью храбрых... Ванюшка — это тоже война, тоже ранка... Ты ответь: работала Верка на совесть?

— Чего и спрашивать?

Прибежали ребятишки. Таисья умыла их, налила в миску молока, накрошила жмыха, отвернулась, чтобы не замутило.

Потом, уложив ребятишек на полати, Таисья вышла с Силантьевым из избы.

С непривычки ноги от туфель болели, она сняла их.

— Понимаешь? — спросил председатель. — Ты не по-бабьему рассуждай, а...

— Не моя беда об чужом грехе заботиться, — оборвала Таисья, — мне спать пора. Во сне, может, щи увижу, похлебаю.

Она уходит в избу, раздевается, залезает на печь, ворочается на твердом ложе, ощущая каждый кирпич.

Дружно посапывают ребятишки — трое сынов. Таисья спускается по лесенке, садится к окну. Давно с ней такого не случалось: хочется молчать, слушая, как бьется сердце. Даже плечами пошевелила — до того явственно вспомнила холодок, который проник под кофточку в то утро; шли тогда со Степаном вдоль реки, а уже женатые были, под сердцем у нее двое шевелились...

С плеч холодок спустился в руки, в пальцах застрял. А тогда пальцы ломило, судорогой сводило — это когда они с Веркой картошку у Свиного мыса собирали. Потом им в райисполкоме грамоты вручали...

Заслышав под окном шаги, Таисья спросила:
— Ты, что ли?

— Я-а-а, — заголосила в ответ Верка.

— Тише ты! — крикнула Таисья. — Баб разбудишь. Спят бабы-то. Умыкались... Заходи давай, потолкуем...

1958 г.

СЛЫШИШЬ, ДРУГ...

И никого не надо, никого... Пусть все остается вот так, как сейчас: одна... Идет по улице; мимо спешат люди, и никому нет до нее, обиженной, дела. Потом она вернется домой, сядет за книгу, сделает вид, что читает. Утром пойдет на работу, вечером — в школу, а на уме — все то же. Никому не расскажет. она о своей беде, потому что никто не поймет.

Наташа нахмурила короткие черные брови и сжала губы: чтобы видели люди, как она страдает. Но никто из встречных не верил в ее горе, все улыбались ей.

«Черствые люди, — думала она, — жестокие или просто глупые. Понятия не имеют, как тяжела жизнь, как она отвратительно устроена... Любовь, дружба... это болтовня! Я раньше считала, дура, что любят тех, кто достоин любви. Ничего подобного! Вот я этого Димку... этого... а он с этой... противно даже смотреть!»

А солнце было большое и доброе. Оно ласково грело Наташино лицо, лучики заглядывали в ее глаза, и она недовольно хмурилась. «Никого мне не надо, никого! — с отчаянием думала Наташа. — И Димку солнце греет, и эту... Чем она меня лучше? Подумаешь, в хоре

поет!.. Гуляют сейчас где-нибудь, и она ему напевает...»

А они шли навстречу. Димка был в новой шляпе, надвинутой на самые брови, а она — эта! — в каком-то сиреновом колпаке.

Сначала Наташа хотела броситься в переулок, но не шевельнулась, и, лишь когда они подошли, руки ее стали нервно то поднимать, то опускать муфту, будто она старалась прикрыть себя от насмешливого взгляда Димкиной спутницы.

Он покраснел и, проходя мимо, кивнул, а Наташа сказала:

— Привет!

И чуть не расплакалась, щурила глаза, кусала губы, чтобы удержать слезы, но одна слезинка все-таки выпрыгнула на щеку, и девушка до боли растерла ее муфтой.

«Я не знаю и знать не хочу, кто она такая, — думала Наташа, — но глаза у нее глупые и противные!»

— Слышишь, друг...

Кто-то сильно толкнул ее в бок. Наташа обернулась. Перед ней стоял высоченный парень в распахнутом брезентовом плаще, под которым была застегнутая до шеи телогрейка. На густой шевелюре лежала кепочка.

— Где тут Маршрутная улица? — спросил парень.

— Не знаю, — буркнула Наташа и отвернулась, продолжая смотреть вслед Димке и его спутнице.

Вот они скрылись за углом.

Наташа опустила голову и увидела на мосто-

вой рядом со своей маленькой тенью длинную и через плечо сказала:

— Я не знаю, где эта улица.

— Так пойдем поищем, — спокойно предложил парень. — Ты здешняя, тебе легче. А один я заплутаюсь.

Смерив его недовольным взглядом, Наташа направилась прочь.

— Слышишь, друг! — парень догнал ее и зашагал рядом. — Мне эта улица, знаешь, как нужна? Ты ведь женского пола, должна понимать...

— У тебя здесь всё в порядке? — раздраженно спросила девушка и постучала пальцем по лбу.

— Времени у меня всего четыре часа, — будто не расслышав обидного вопроса, продолжал парень, — и надо мне эту улицу разыскать... Слышишь, друг, помоги, а?

Наташа остановилась, невольно вдумываясь в слова, произнесенные негромким, спокойным голосом.

— Пошли, — неожиданно для самой себя согласилась она, когда парень замолчал, и через несколько шагов спросила: — К родным приехал?

— И сам не знаю, к кому приехал... А ты почему ревела?

— Я? — Наташа смутилась. — И не... а ты как заметил?

— Привычка. Сам иногда слезы лью.

Это было уже интересно, и Наташа сказала:

— А ты чудак. Подошел к незнакомому человеку, сразу на ты...

— Привычка.

— А если бы я отказалась?

Парень отрицательно покачал головой. Он шагал, засунув руки в карманы плаща, не глядя на Наташу. Лицо у него было большое и некрасивое, но очень доброе. Шагал он широко, а неслышно. И девушке нестерпимо захотелось узнать, кто он такой и почему ищет Маршрутную улицу...

— Слышишь... — позвала она. — А почему...

— Любопытная ты, — перебил парень. — Могу рассказать. Бросила меня моя зазноба, убежала к другому. И смотрел я им вслед, и слезки капали. И вот приехал узнать, каким образом они живут, чем питаются, часто ли в кино ходят? — легко, без волнения говорил он, а в глазах — грусть.

— Не надо, — попросила Наташа, — не надо так. Ведь больно тебе, а ты смеешься.

— Ага. Смеюсь. Потому что всерьез об этом рассказывать — все равно, что кипяток пить.

— Она тебя любит?

Парень отрицательно покачал головой.

— Ты что, надеешься, что они плохо живут? Да? — запальчиво спросила Наташа.

Парень кивнул.

— Но это же... — Наташа осеклась, вспомнив Димку и его спутницу. — Это же нехорошо!

Парень пожал плечами, но кивнул.

— Вот видишь, — удовлетворенно произнесла девушка. — А зачем ты приехал? А вдруг они очень счастливы? Ведь им неприятно будет видеть тебя! — говорила она, думая о себе, Димке и его новой знакомой. — Откуда ты

взял, что твоя любовь ей нужнее? А может, ее муж во сто раз лучше тебя? Почему же ты... — Ладно, ладно! — оборвал парень, но сразу же притих, опустив плечи. — А если я без нее жить не могу?

— А если она без него жить не может?

— А если мне больше никого не надо?

— А если ей больше никого не надо?

— Тогда как? — почти крикнул парень. — Так вот и... А?

— Не знаю.

Наташа шла в двух шагах от парня, потому что он топал прямо по лужам. Со стороны можно было подумать, что девушка о чем-то спрашивает его, а он не соглашается.

— Значит, что? — резко остановившись, спросил парень. — Что? — Он смотрел на нее в упор, будто готовый обругать или ударить.

— Откуда я знаю? — виновато отозвалась Наташа. — Вот Маршрутная улица. Иди.

Парень исподлобья глянул вперед и закусил толстую губу. Он стоял в луже, сапогами в отразившемся на ее поверхности солнце. Увидел это и осторожно вышел на асфальт.

Солнце еще долго плескалось...

— Почему ты думаешь, что мы лучше их? — тихо спросила Наташа. — У меня, например, голоса нет, а она в хоре поет. А тот... ну, муж ее, он...

— Он в домино здорово играет.

Наташа и парень долго смотрели на Маршрутную улицу и двинулись обратно.

ЧУЖОЕ ГОРЕ

Никита отправился в дорогу еще при луне, надеясь с рассветом сесть на попутную машину. Есть в ночной тишине полей что-то торжественное. Дорога вела через эту тишину.

Увлеченный ходьбой, Никита не заметил, как начало светать.

Чудесен был воздух раннего утра. Прохладный, чуть влажный, он был пропитан и запахом хвои, прилетевшим из дальнего леса, и густым ароматом пшеничного поля, и другими запахами, которые сливались в один — воздух раннего утра.

Никита остановился возле ключика; мылся так остервенело, что устал.

Зной уже давал себя знать. Никита часто оглядывался, чтобы не прозевать автомашины. Он бы присел отдохнуть, но тревога гнала его вперед.

Солнце поднималось все выше и выше, а ни одна машина не обогнала Никиту. Лучи, казалось, прокалывали кожу и там, внутри, жгли.

Проходя мимо прудов и речушек, он отворачивался. Он подсчитал, что может и пешком к ночи добраться до города, поэтому решил не отдыхать.

К полудню солнце настолько пропекло зем-

лю, что босым ногам было больно. В легкие при дыхании попадал не воздух, а зной. Склонились травы, потемневшая листва не шевелилась. Голубизна неба, золото колосьев резали глаза. Чудилось: одно дуновение ветерка и — посыплется, звеня, на землю спелое зерно.

Были икры и пятки, ломило напеченный солнцем затылок. Ноги сами сворачивали в тень, но Никита шел прямо. Он проходил деревню за деревней.

То и дело мимо проносились встречные машины, а обогнала его только запыленная «победа».

Впереди показалось большое село.

Через него Никита брел, стараясь быть ближе к заборам и избам — в тени. У околицы лежали, разомлев от жары, крутобокие овцы.

— Сколько до города? — поддельно бодрым голосом спросил Никита встречного старика.

— Да верст сорок, а то и боле.

У парня подкосились ноги; охватило уныние, бороться с которым труднее, чем с усталостью. Подумалось, что до города все равно не дойти, что по дороге встретится широченная река без моста, что жена... а вдруг уже сын или дочь?

Никита ускорил шаги.

В следующей деревне у околицы сидели на мешках и чемоданах несколько человек — караулили попутные машины.

— Сколько до города? — спросил Никита.

— Километров сорок, — ответили ему, — а то и больше.

Парень постоял, оттолкнулся от изгороди и пошел дальше. Впереди по дороге колыбалась его длинная тень.

Перед тем как склониться к горизонту, солнце пекло изо всех сил. Уходило на покой светило, над землей плыла прохлада. Ногам еще было жарко от нагретой за день почвы, а в воздухе уже веяло свежестью.

Внезапно в повисшей над полями прохладе Никита уловил ветерок — будто в воздух попала струя из ледника. Он взглянул на небо и поежился: из дальних-дальних сизых туч свисали изогнутые полосы дождя. У горизонта одна за другой полыхнули несколько зарниц. Стало холодно.

Никита на всякий случай закатал штаны выше колен.

Пророкотал злой раскатистый гром.

Впереди Никита рассмотрел чью-то фигуру — вроде бы человек.

А гром уже ворчал над головой.

Никита побежал, напряженно вглядываясь в темноту. Ботинки, висевшие на шнурах через плечо, больно били по спине и по груди, но не хватало сил придержать их.

— Эй! — крикнул Никита. — Обожди, друг!

Человек остановился. Никита подбежал. Лицом к нему, уперев руки в широкие бока, расставив ноги в кирзовых сапогах, стояла высокая полная женщина. Даже в темноте было видно, как блестят ее большие глаза.

— Случайно, не в город, гражданочка? — спросил Никита.

Женщина ответила тихо:

— В город, гражданин, да только не случайно.

— Возьмете меня в компанию?

— Дорога широкая. Места хватит. Откуда идешь?

Никита гордо произнес название деревни, где размещалась геологическая партия, в которой он работал. Он был уверен, что попутчица изумится.

Но она ничего не сказала.

— Пешком ведь, — обиженно добавил Никита.

Она кивнула.

— И не ел ничего!

Женщина, не глядя на него, непонятно откуда вытащила бумажный сверток и протянула Никите. От неожиданности он шагнул в сторону.

Женщина сказала сердито:

— Бери, когда дают.

Никита впился зубами в пышную шаньгу. Заболели от усилий скулы. Он жевал торопливо, давился, глотая большие куски.

— Жуй, — коротко приказала женщина и, убедившись, что парень послушался, спокойно заметила: — Сейчас польет.

Высоко задрав платье, так, что мелькнули белые ноги, она села и попросила:

— Стяни-ко сапоги.

Наскоро дожевав последний кусок, Никита машинально сунул в карман бумагу и помог женщине снять сапоги. Она встала, взяла сапоги за ушки в одну руку и пошла.

Хлынул дождь.

Женщина в мгновение промокла насквозь.

Платье облепило ее широкую спину. Шла женщина спокойно, словно никакого дождя и не было.

— Шибко пристал? — через плечо спросила она.

— Ага, — отозвался Никита, которому после еды идти стало еще тяжелее. — А вы знаете, зачем я в город?

— По делу, видать.

Ливень шумел. Временами раздавался гром. И чтобы слышать друг друга, приходилось кричать.

— К жене иду на свидание!

И опять женщина не ответила.

— Очень хочется повидать ее! — обиженно добавил Никита. — Ребенка она ждет!

И на это попутчица ничего не сказала.

— Плохо нынче детей иметь, — продолжал Никита, — комнатенка у нас махонькая...

— А у нас дом большой... с огородом, с баней... Идем-ко быстрее, а то озябнем, — предложила женщина. — Близко уже. Верст пять, не боле.

— Дом — это хорошо! — крикнул Никита. — Благодарь! А я...

— А я к мужу иду. К утру его повидаю да обратно. Не отпускают часто-то. Делов много в колхозе. Вчерась вот отпросилась. Ну просто сил моих нет, так своего мужика повидать охота.

— Он в городе живет?

— Живет... пока... в городе... на Луначарской улице. Рак, говорят... Может, и правда! — сквозь гром крикнула она. — Кто их, врачей,

разберет? Одно лечат, другое калечат! Отдали бы мне его, я бы его выходила... А чего они больницы в городе строят? Вот тут бы над рекой выстроили или подальше, в лесу. Человека воздухом лечить надо. И чтоб кругом здоровые были. А в больнице? Тут и здоровый занеможет... Отдали бы мне его...

Никита растерянно спросил:

— Может, вам в городе остановиться негде?

— А чего останавливаться-то? Утра дождусь, на него погляжу и — обратно.

Дождь утих, и сразу наступила тишина, такая тишина, что Никите показалось, будто он оглох. Потом он услышал, как журчит в канаве вода и шелестят мокрые листья деревьев.

Никита с женщиной шли по чахлому привокзальному скверику. Она рассказывала:

— Три года прожили, двоих родила. Здоровый совсем был, ничего не заметно, и вдруг раз — согнуло. Увезли в город, да так и лежит... Улыбнется мне, кровь моя стынет, будто я льду наглоталась... Пока буду ему улыбки делать, не помрет. Верит он мне... Хоть бы кровь перелили или еще что придумали...

Она села на скамейку, скрутила подол, выжала, медленно сняла с головы платок, выпустила густые волосы.

Никите хотелось сказать на прощанье что-нибудь утешительное, и он пробормотал:

— В общем, не волнуйтесь. Вылечат. Я знаю.

— Вылечат... вылечат... — Женщина равнодушно кивнула, не взглянув на него. Ее словно несколько не беспокоило, что она промокла, что впереди бессонная ночь.

— Будь здоров, попутчик, — сказала она. — Будет у тебя дом, не горюй.

Выйдя из скверика, Никита побежал, и, когда поднимался по лестнице на второй этаж, ноги чуть подкашивались. Он прислонился к стене, отдышался и постучал.

— Кто тут шумит? — раздался за его спиной голос старушки соседки. — Откуда ты взялся?

— Оттуда. — Никита ткнул пальцем в пространство. — Где она?

— В больнице. Сын у нее родился.

— Сын? — испуганно переспросил Никита. — Какой сын?

— Уж не знаю, какой, — кокетливо ответила старушка, — твой, верно.

Никита вошел в комнатку, толкнул створки окна, лег грудью на подоконник и заснул в этой неудобной позе.

И увидел сон. Идет к нему прямо по крышам женщина в мокром платье, в руках — сапоги. Хочет Никита убежать, а не может, ноги не шевелятся. Женщина протягивает ему сапоги, говорит ласково:

— Носи, счастливый человек. Радуйся. Завтра я тебе дом принесу. Хороший у нас с мужиком дом. Бери, живи.

— Да у меня и денег-то нет, — бормочет Никита, — зарплата у меня....

— Не надо нам денег. Даром бери... Огород еще у нас есть, баня — принести?

Из глаз женщины брызнули слезы, дождем застучали по крыше.

...Проснулся Никита — грудь болит, еле оторвался от подоконника, вышел на кухню.

— Как жить-то будете?—спросила соседка.—
Ведь и повернуться негде.

— А мы и не будем поворачиваться, — задумчиво ответил Никита. — Сядем рядом и будем жить ладком.

1957 г.

КОСТЕР НА ТОМ БЕРЕГУ

Они сидели в двух шагах друг от друга, пока не остыли угли.

— Успеем на последний автобус? — тихо спросила женщина.

— Успеем, — беззвучно, одними губами ответил ее спутник и, когда она поднялась, спросил: — А мы не будем жалеть об этом?

— Не знаю... не знаю... не знаю... — несколько раз повторила она.

И вот дома на старой кушетке, пружины которой давно пришли в негодность и звенели, казалось, даже от движения воздуха, она слушала дождь. Звонко, насмешливо, дерзко стучали капли по стеклам.

А она вспоминала и вспоминала без конца весь сегодняшний день. Все произошло именно так, как и должно было произойти, именно так, как она хотела. Но она до сих пор не знала, права ли она.

Сколько лет скучать ей одной в своей маленькой комнатушке, прислушиваясь к дождю или метели, к шагам в коридоре, к раздражающим звукам общей кухни? Одно и то же каждый вечер, каждую ночь.

Дождь не унимался. От окна веяло холодной сыростью. Женщина сняла туфли и поджала

ноги. Каждое движение сопровождалось звонком пружин.

Она едва не расплакалась от пустоты и одиночества, будто лишь сейчас ощутила их, будто лишь сейчас впервые ей стало ясно, что она одна, совсем одна. И что толку в ее красоте, что толку в том, что любима и любит... Она заплакала не сдерживаясь. Плакала все громче и громче, словно рыданиями хотела заглушить шум дождя. Но дождь плакал сильнее.

Женщина замерзла. До халата, висевшего на стене, было рукой подать. Женщина не двигалась. Она знала, что если сделает хотя бы одно движение, то встанет и пойдет к нему, которого любит; пойдет потому, что тридцать четвертый — это не двадцать пять и даже не тридцать...

Два года прошло со дня их знакомства. Год они изредка встречаются украдкой.

При первой встрече ее поразило его лицо — острые выступы скул, на которых кожа покраснела, нахмуренные тонкие брови и усталый покорный взгляд серых глаз.

Покорность проглядывала и в тихом голосе, и в неслышной походке.

Сначала женщина старалась не замечать его, но потом пожалела, захотела чем-нибудь помочь.

Однажды она вышла из заводоуправления, где помещалось конструкторское бюро, в котором он работал, и чуть не столкнулась с ним в подъезде.

Он стоял к ней спиной и курил. Ей подумалось

лось, что он, должно быть, очень несчастен и поэтому не спешит домой.

Не обрадовалась она, когда почувствовала, что приближается любовь.

Она привыкла к одиночеству, к скромному образу жизни, в котором все было до мелочей знакомым — вот как эта старая кушетка или чертежный стол, за которым женщина снимала бесконечные копии.

Наградив ее красотой и умом, судьба дала ей замкнутый характер и строгие чувства.

И полюбив, уверившись в своем чувстве, женщина решила, что добьется счастья какой угодно ценой. Нельзя и некогда рассуждать!

Она сказала:

— Я люблю вас.

Он не ответил.

Закурил.

— Я люблю вас, — повторила она, удивляясь своей смелости.

Он молчал.

И она в третий раз проговорила:

— Я люблю вас.

— У меня двое детей, — ответил он, — вы знаете об этом.

— Какое мне дело! — с возмущением, с ненавистью даже сказала она. — Будь у вас хоть сто жен и тысяча детей... — и замолчала, почувствовав неправду своих слов. — Я люблю вас, — беспомощным голосом вновь повторила она, и слова эти вдруг поблекли, стали бессмысленными, ненужными.

— Я тоже люблю вас, — громко сказал он, — никого я не любил так...

— Хотите чаю?—перебила она, кусая губы.— Будем пить чай. Да, да, приходите ко мне каждый вечер пить чай... Двое детей...

— Да.

— Нет, мы не будем пить чай вместе, — резко проговорила она. — Я буду пить одна, а вы с этой...

Когда он попытался обнять ее, женщина попросила:

— Не надо. Я не могу так.

Много сил она затратила на то, чтобы доказать ему, что не имеет права разбивать семью, что... И сама не верила правде своих доводов.

Сердце ныло. Женщина спросила однажды:

— Она хорошая?

— Да.

— Любит тебя?

— Да.

По голосу его она поняла, что все зависит от нее самой. Будет так, как она решит. Скажет — и...

А он сказал в субботу:

— Завтра вечером приезжай на озеро. Там, на другом берегу, я буду ждать тебя.

И словно в одно мгновение женщина заметила, как изменился он: покорность исчезла без следа, даже походка у него стала другой — стремительной, порывистой. Дерзок он стал и в работе.

Утром в воскресенье она решила, что никуда не поедет. Уж лучше привычное одиночество, неутоленность желаний, чем ворованная любовь.

Днем она уже напевала, мечтая о встрече. Ей хотелось быть грешной, отторгнутой всеми, кроме него.

В автобусе женщина боялась поднять голову — ей казалось, что все смотрят на нее с брезгливостью. И она не могла понять, кто прав: она, наконец-то добравшаяся до счастья, или они, кто, конечно, осудит ее?

Темное озеро лежало у ног женщины, а на том берегу веселыми языками пламени плясал костер.

Женщина шла медленно, осторожно. «До счастья было не больше ста шагов», — насмешливо подумала она.

Он не видел ее, остановившуюся недалеко, там, докуда не долетал свет костра. Женщина приблизилась, и тепло обдало ее с головы до ног.

— Я пришла, — сказала она.

Костер разгорелся еще сильнее.

А ей стало холодно.

Она протянула к огню руки.

В костре щелкнуло, из пламени вылетел уголек и упал в раскрытую ладонь.

Женщина неторопливым движением, словно наслаждаясь болью, сжала руку в кулак.

Медленно гас костер. Края его уже подернулись пеплом. Робкое пламя из последних сил сопротивлялось темноте.

— Уйти?.. А мы не будем жалеть об этом? — спросил мужчина и палкой разворошил угли. Снова, теперь уже ненадолго, вспыхнуло пламя. Они сидели в двух шагах друг от друга, пока не остыли угли.

— Успеет еще на последний автобус? — тихо спросила женщина.

— Успеет, — беззвучно, одними губами ответил ее спутник и, когда она поднялась, спросил: — А мы не будем жалеть об этом?

— Не знаю... не знаю... не знаю... — несколько раз повторила она.

1957 г.

ЧИСТОЕ ТЕЛО

Николай пришел в баню после ночной смены злой, усталый, грязный.

В соседнем номере мылись девушки. Они хохотали, повизгивали, звонко шлепали друг друга.

«Вот дуры, — подумал Николай, — на мороз бы вас ночью, трубы ворочать, не орали бы!» — Ой, не надо! Ой, не надо! — раздалось за стеной. — Ой, холодно!

Николай лег в ванну, и теплая вода, казалось, проникла под кожу, разлилась там...

А девушки за стеной расшались. Их было, по-видимому, трое. Николаю представилось, что они легкие, загорелые, какие-то не такие, какими бывают обычно, и, наверное, очень красивые.

Во всем, что он сейчас ощущал, было что-то удивительное, таинственное — будто он слышал сон.

Внезапно Николаю стало грустно. Тело его, мускулистое, поджарое, с темноватой кожей, показалось ему некрасивым, неприятным...

Вспомнил ночь, поежился.

Работа у него грязная, должность — верховой. Это на высоте метров тридцать, продувает со всех сторон, а одеваться приходится легко,

чтобы двигаться ловко... Свищет ветер, разрезываясь о металлический скелет нефтяной вышки, прижимает Николая к деревянной загородке, а то вдруг — как шуганет в сторону! Тоже ведь судьба: окончил восемь классов, начал девятый, до института совсем немного осталось, но заболела мать, слегла, и пришлось соображать, на какие деньги жить. С горя он не стал выбирать, нанялся рабочим, потом учился на курсах, получил повышение в прямом и переносном смысле — стал верховым. Деньги, правда, немаленькие, однако не даровые, трудные.

Вернется Николай с вахты, глянет мать на его спецовку и запричитает:

— Скоро ли выбросишь ее, Коленька? стыдно, поди, на людях таким ходить? Хоть бы счетоводом, что ли, или инспектором каким-ни-набудь...

стыдиться Николаю не приходится: поселок рабочий, нефтяной, а нефть, известно, в земле. Но завидно бывает на чистеньких смотреть. За стеной опять послышалась возня и повизгивание. Опять они расшались, опять раздурачились.

Николай вскинул голову вверх, и по плечам быстро прополз морозец — в стене, под самым потолком было большое отверстие, через которое проходили две тонкие трубы.

Неодолимая, дерзкая, самого его испугавшая сила забилась в нем, и разум не сдерживал ее. Будто кто-то шепнул Николаю, но не в ухо, а прямо вовнутрь его, в мускулы:

— Посмотри... посмотри...

А они за стеной, словно нарочно поддразнивая, хохотали и толкались с таким азартом, что Николай будто слышал, как поют их тела под шлепками.

Взволнованный и в то же время холодно сосредоточенный, смотрел он на отверстие в стене, прикидывал, куда можно поставить ногу, за что ухватиться.

— Поллюбить, девчата, охота, — услышал он, — замуж ведь пора... — и звонкий, словно прямо в него направленный смех.

Ворчала в трубах вода, где-то падали капли. И Николаю подумалось, что хорошо бы сейчас невидимкой оказаться там, среди них, просто бы посмотреть и чуть-чуть прикоснуться, узнать, из чего же они сотворены.

— А парни иной раз больно нахальные бывают...

— А то наоборот...

— А я вам скажу...

Зашуршал душ. Николай вздохнул. Не разберешь их. Пробовал с одной из конторы гулять, ребята научили, как действовать надо, — по щекам отхлестала. Другой, лебедчице из электроразведки, всё про книги рассказывал, ближе, чем на полметра не подходил, — на смех его подняла, безруким обозвала... Ну их всех, без них проживем. Разворошат душу, взбаламутят, а толку?

И трубы он больше ворочать не станет. Выдумали тоже! К буровой подъезд дождями размыло — и нет чтоб трактор обождать! «Поднатужимся, ребяташки! Раз, два... взяли!» Не мое дело — чужую работу работать.

Николай очнулся от тишины.

Прислушался — за стеной никого уже не было. Эх! Хоть бы на улице на них посмотреть, какие они! Прозевал, балбес... Он начал торопливо одеваться, но белье с трудом налезало на мокрое тело. Прикосновения спецовки коробили. Он выскочил в коридор. Старушка банщица удивилась:

— Уже? Да ты, милай, и двадцать минут не шоркался. Али чистый приходил?

— Чистенький, — буркнул Николай и прошел в буфет.

У стойки трое девушек в одинаковых новых телогрейках пили газированную воду. Они были румяные и усталые.

Николай до того пристально разглядывал их, что девушки приснули и отвернулись.

— Пива! Кружку! — громко попросил Николай, хотя не любил его.

— Нету, — зевнув, ответила буфетчица.

— Тогда этой... ну, газировки.

— Кружку?

— стакан!

Девушки посмотрели на него, приснули, о чем-то пошептались и дружно стукнули стаканами о стойку.

Николай проводил их грустным взглядом, отпил глоток невкусной воды и побрел домой. Как всегда бывает после бессонной ночи, голова тяжело гудела. Но об отдыхе и подумать было нельзя — полы, обед, небольшая, да стирка...

— Женился бы, — с жалостью повторяла мать. — Сколько девчат кругом... Вон в сбер-

кассе культурные какие работают... И у денег всегда.

Только в середине дня Николай повалился на кровать и — будто нырнул в сон, глубоко, глубоко...

Вынырнул — слышит голос матери:

— Коля, а Коленька!

Открыв глаза, он подумал, что ведь здорово пришлось вчера повозиться с этими треклятыми трубами.

Приятно было натягивать на чистое тело брезентовую спецовку.

Он вспомнил о девушках и рассмеялся.

Дорога на буровую шла лесом. Идти было весело, хотя твердые выпуклости замерзшей грязи больно ощущались сквозь подошвы резиновых сапог.

Ветер приносил резкий запах свежей, только что вырвавшейся из земли нефти. Николай ловил его так старательно, что чуть закружилась голова.

В нем билось светлое утреннее настроение, словно где-то рядом, совсем близко смеялись и дразнили его эти девушки...

1958 г.

САМОЕ ДЛИННОЕ МГНОВЕНИЕ

Он редко думал о смерти, но когда мысль о ней все-таки приходила в голову, желал только одного: не умереть бы весной. Ведь именно в эту пору к нему неизменно возвращались силы, он будто молодел и чувствовал биение жизни даже в кончиках пальцев своих огромных, натруженных рук, прошитых темно-синими венами.

Удивительные это были руки: некрасивые, нелепые размерами и формой, они вдруг обретали неожиданную красоту и изящество, стоило им к чему-нибудь прикоснуться, потому что к любой вещи, к любому малому предмету руки эти относились с нежностью и уважением, которое знакомо лишь тем, кто на своем веку много души вложил в созидание вещей. Труд сделал его руки некрасивыми в момент покоя, труд преображал их, когда они делали дело.

И как раз весной-то он и вспоминал о смерти, вспоминал без страха, не веря, что перестанет дышать, что уйдет из этого неуютного, суматошного, очень ему дорогого мира; не верил, потому что врос в этот мир... Ну а если на то и пошло, лишь бы не весной!

А умер он весной.

Проснувшись по привычке рано, он сразу подивился бодрости, которой была пропитана каждая частичка его громоздкого тела, подошел к окну и толкнул створки.

Холодный, пронзительный аромат черемухи ворвался в комнату.

— Закрой окно, — сонно прошептала жена, — чего тебе не спится?

Он протянул руку и почувствовал, что ему не хватает воздуха, покачнулся.

Подкрался ветер, шире распахнул окно.

А он еще дышал, еще думал, а сердце уже не двигалось. С обидой решил: сейчас, вот сейчас он умрет.

Но — длинным, бесконечным было мгновение перед смертью, и в это мгновение он вспомнил многое и многому удивился.

Вчера шел с завода, и захотелось ему купить жене букетик цветов.

— Два рубли, — сказала подслеповатая старушка.

— Рубль, — сердито предложил он, торгуясь первый раз в жизни, — везде по рублю.

— Два, — упрячилась старушка.

Не денег ему было жалко, просто обидела несправедливость. Не купил цветов, расстроился, чуть не обозвал старушку спекулянткой. Чтобы утешить себя, взял он в магазине бутылку портвейна, который по сравнению с водкой считал вредным напитком.

Родные не дали выпить, отобрали бутылку, долго бранили. Он чертыхнулся, ушел на кухню, вбил гвоздь для посудного полотенца и сразу успокоился.

До поздней ночи ходил он по квартире и делал маленькие дела: собрал старые галоши и сложил их в ящик, смазал керосином дверные шарниры, чтобы не скрипели, песком вычистил таз под умывальником, золой протер ножи и вилки.

Каждое движение доставляло ему удовольствие, казалось необычайно важным.

Спать не хотелось. Он тщательно вытер пыль с приемника, купленного неделю назад. Смешно получилось: ушел в магазин за зимним пальто, а вернулся с приемником. Сначала родные дружно бранили его за неразумную покупку, но почти до утра слушали передачи. Сейчас, в последнее мгновение, он пожалел, что не купил приемника раньше. Вообще не умел он жить! Так и не добился благоустроенной квартиры, так и не собрался съездить в санаторий, все откладывал да откладывал, не навестил брата, не... не... не... Даже не ухитрился вчера выпить рюмку, не поставил перед женой букетик цветов!

Многого он не сделал. И, чувствуя, как в него входит холодом смерть, жалел о несделанном. Маленькой показалась жизнь, короткой. Уже родные сбежались на крик жены, увидевшей его смерть, а он еще жил, все еще длилось последнее мгновение.

Смеялась за окном лукавая весна, дышала устало и страстно, как молодая женщина, что вынырнула из ледяной воды и раскинулась под солнцем.

И он вспомнил девушку, ту, которая первой познакомила его с ласками, подарила все, чем

владела... Остановил он разгоряченного боем коня около санитарной повозки, где всегда была эта девушка, а тут ее не оказалось. Больше он ее не встретил, потому что к вечеру бросила его наземь пуля.

Вспомнил, как в далекой азиатской деревне, где-то между небом и землей — в пустыне — вылавливал басмачей, встретил свою будущую жену, как год не трогал ее. А зачем? Год, значит, отнял у радости.

Двоих сыновей своих вспомнил, но не живых, не людей, а бумажки похоронные о их смерти на поле боя.

Вдруг он с облегчением подумал, что умирает не впервые, ведь в сорок третьем году умирал — грохнулся на пол рядом со станком. Тогда вот так же холодно дышала у самого лица смерть, вот так же сбежались люди...

Черемуха за окном расплылась радужными пятнами. Он еще жил. Трудно было смерти сразу завладеть им.

Не собирался он умирать. Вчера, лежа в постели, рассказывал жене о своих планах. Во-первых, к осени уйдет на пенсию, во-вторых, начнет лечиться. Жена молчала, потому что слышала это в сотый раз.

Хорошо, что не ушел на пенсию, хорошо, что купил приемник. Хорошо, что дрался с беляками и басмачами. Хорошо, что в сорок третьем грохнулся на пол рядом со станком... хорошо... хорошо... хорошо. Длинной, затерявшей начало в дали годов, представилась ему жизнь. Было в ней столько событий, встреч, разлук, горя, радости, праздников, несчастий,

друзей, врагов, вина, метелей, солнца, ненастья, что все это слилось в одно радостное ощущение бесконечности жизни.

И не смерть холодила руки, а живой холод металла чувствовали они.

И мертвые пальцы чутко зашевелились, привычно трогая знакомую поверхность какой-то огромной детали...

Жалко ему стало родных и близких, которые в непонятном для него страхе суетились вокруг. Что с ними? Чего боятся?

Нет, смерти не бывает, не страшна она ну вот насколько, потому что не верит он в нее.

«Живем, живем», — радостно подумал он и умер, так и не успев поверить в смерть.

Лежал он, и удивительные руки его, словно живые, покоились на груди, красивые человеческие руки, готовые в любой момент вздрогнуть и начать делать дело...

1958 г



ТЕТРАДЬ
ВТОРАЯ



ПОЧЕМУ ПЛАКАЛА ДЕВОЧКА

Эту комнату мы называли кабинетом, хотя на самом деле она была обыкновенным чуланом. В нем стоял тонконогий столик, тумбочка и стул. На столике сверкала консервная банка — пепельница, рядом — стопка фотографий, придавленная большой галькой. К краю стола была привинчена кофейная мельница. Вот, пожалуй, и все, если не считать пузырька с чернилами, ручки и томика рассказов Паустовского.

Я говорю об этом так подробно потому, что кабинет-чулан и еще комната с крошечным балкончиком в доме на берегу Камы, среди сосен, берез и огородов — это счастье.

Мы приехали сюда из душного, пыльного города, вырвались из круговорота заседаний, собраний, планерок, летучек, совещаний и — задышали свежим воздухом.

Вечером, расставив вещи, мы налили в чашки рислинга, охлажденного в ключевой воде, чокнулись, выпили за то, чтобы всем жилось хорошо, и сразу опьянели. Опьянели и запели веселые песни. И хотя Ленька пил не рислинг, а простоквашу, он все равно вроде бы опьянел и пел песни вместе с нами.

Спать мы легли рано.

Утром, едва проснувшись, я вскочил, открыл окно и вылез на крышу. Стоял под колючим ветерком, смотрел вокруг и думал. До чего же глупо мы живем, думал я, крутимся с утра до вечера, копошимся, ссоримся, куда-то торопимся, к отпуску дуреем настолько, что первую неделю отдыха ничего не замечаем, не верим, например, что можно целый день проваляться с книгой в руках... Зимой мечтаем о юге, о море, портим себе настроение, вымаливая у профкома путевку. А вот уехал сюда, всего за пятнадцать километров от города — и какая благодать!

Через час мы сидели на балкончике и завтракали.

— Рыбачить пойдём? — спросил меня Ленька.

— Никаких рыбалок, — сказала мама Надя, — идите лучше в лес.

Лицо у Леньки стало грустным. Он проговорил:

— Смешно. В лес. Лучше рыбачить.

— А если утонете?

Тонуть мы и не собирались, а поэтому обиделись на такие слова. До того обиделись, что есть перестали.

— Идите лучше в лес, — повторила мама Надя, — грибов принесете или ягод.

— Мы рыбачить хотим, — жалобно сказал Ленька, — отпусти нас рыбачить.

— А если утонете? — снова спросила мама Надя.

Тут мы расхохотались. За кого она нас принимает? И зачем это мы тонуть будем?

— Если вы пойдёте на рыбалку, — обиженно

и строго произнесла мама Надя, — я буду волноваться. Вы хотите, чтобы я волновалась? Мы совсем не хотели, чтобы она волновалась, но еще больше нам хотелось вытащить из воды несколько ершиков.

— Вы плохие люди, — сказала мама Надя, — вы думаете только о себе. Только бы вам было хорошо. Да?

— Нет, — ответил я.

— Нет, — повторил Ленька.

— Неужели ты не хочешь ухи? — спросил я. — Мы поймаем много ершиков и сварим такую уху, что ты пальчики оближешь.

— Десять пальчиков, — добавил Ленька. — Мы будем сидеть на дебаркадере и ловить рыбу. Для чего нам тонуть? Разговор закончился тем, что мама Надя махнула на нас рукой и уехала в город за продуктами.

Мы отправились на рыбалку. Я нес удочки, а Ленька червей в спичечной коробке. И хотя мне тогда было двадцать восемь лет, а Леньке пять-шестой, настроение у нас было одинаковое — замечательное.

Шли мы босиком, и теплый песок приятно щекотал нам подошвы.

Через несколько шагов мы увидели, что на скамейке у забора сидит маленькая девочка в красных трусиках. Худенькие плечики ее вздрагивали. Она плакала, держась за лицо руками.

— Плачет, — насмешливо шепнул мне Ленька, — вот рёва!

Девочка подняла на нас заплаканное лицо.

Мы остановились.

Ленька показал ей язык.

Девочка снова всхлипнула, снова схватилась за лицо руками. Чего это она? Кругом такая благодать, а она плачет, глупая!

— Смешно, — шепнул мне Ленька.

Девочка не обращала на нас никакого внимания, плакала и плакала. Сначала нам стало жаль ее, а потом мы подумали, что жалеть ее нечего. Куклу, наверное, потеряла или обозвал ее кто-нибудь как-нибудь, а она — реветь.

Я посадил Леньку на плечи, и мы стали спускаться вниз по крутому берегу. Гальки больно впивались мне в пятки.

Из-под берега бежали леденящие ключики. Мы быстренько пропрыгали по холодной земле и по шатким доскам поднялись на дебаркадер.

Закинули удочки и сидим, важные, гордые. Нам кажется, что темно-зеленая вода так и кишит ершами; они ходят огромными стаями и сейчас как набросятся на наших червяков...

Не клевало.

— Чего это она плакала? — спросил Ленька.

— Не знаю, — ответил я. — Жалко?

— Немного.

Мы переменили червяков, поплевали на них, снова забросили удочки. Наверное, в Каме было много-много рыбы, но ни одна из них не желала, чтобы мы сварили из нее уху.

— Может, ее настучал кто-нибудь? — спросил Ленька.

— Бывают такие, — согласился я. Мы снова переменили червяков. Снова забросили удочки.

Не клевало.

И стало нам грустно, до того грустно, что мы взглянули на берег, туда, где сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

— Может, ее умывать заставляли, а она не любит умывать? — спросил Ленька. — Помнишь, я в детстве такой был?

— А может, у нее зубы болят? — спросил я.

Мы смотрели на неподвижные удилища и вспоминали маму Надю. Она, как всегда, оказалась права. Не надо нам было идти на рыбалку, ничего из этого не получилось. Уж если мама Надя против чего-нибудь, лучше соглашайся, иначе будет у тебя неудача.

— Посмотрим на нее? — предложил Ленька.

Мы смотрели удочки, высыпали червяков в Каму и поднялись вверх по берегу.

Девочки на скамейке не было.

— Ушла, — сказал я, — успокоилась и ушла. Играет сейчас.

— А вдруг все еще плачет?

Долго мы сидели на скамейке, раздумывая над тем, почему же плакала девочка и где она сейчас, плачет или нет.

Придя домой, мы старались не смотреть друг другу в глаза. Стыдно было. Маму Надю не послушались — раз, ни одного ерша не поймали — два и девочка — три.

Потом мы сварили картошку, надергали в огороде луку и сели обедать.

— Девчонки всегда плачут, — сказал Ленька, — бабушка говорит, что у них глаза на мокром месте.

— Какое нам дело до каждой рёвы, — отве-

тил я. — Она, может, по сто раз в день плачет. Решили поспать. Вынесли на балкончик матрац, подушки и легли.

Несколько раз мне показалось, что я засыпаю. Но стоило мне обрадоваться тому, что сон пришел, как глаза мои открывались.

— И чего я про нее думаю? — спросил Ленька.

Мы встали, и каждый занялся своим делом. Я читал, Ленька пускал корабль в бочке с водой.

А в общем, было нам грустновато.

Ничего, скоро вернется из города мама Надя, и нам сразу станет весело. Привезет она разных вкусных вещей, а главное — сама приедет. Когда мама Надя дома, жить как-то легче.

Мы вышли на берег, чтобы встретить ее. Мы махали руками и прыгали от радости, когда речной трамвайчик проплывал мимо. С трамвайчика нам не ответили. Мы перестали прыгать и сели.

Много людей сошло с трамвайчика на берег, но среди них мамы Нади не было.

Грустные сидели мы на берегу и тихо пели песенку:

Лед по Каме не плышет,
Наша мама не идет.
Кама, Кама,
Где же наша мама?

К пристани подошел второй трамвайчик, а мама Надя опять не приехала.

Мы еще раз спели нашу песенку.

Когда человеку грустно, он ничего не может делать. Мы прогулялись по берегу, посидели

на той самой скамеечке, на которой утром сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

Третий трамвайчик подошел к пристани. Много людей высыпало на берег, но среди них не было той, которую мы ждали.

— Безобразие, — сказал Ленька.

Плакать мы, конечно, не плакали, но вздыхали враз и громко.

Вдруг видим: идет по берегу та самая девочка в красных трусиках и улыбается.

— Чего это она? — спросил Ленька. — То ревет, то улыбается.

А мне подумалось, что было бы здорово замечательно, если бы девочка подошла к нам и спросила:

— Почему вы такие грустные?

Мы бы рассказали ей о своем плохом поведении, пожаловались бы, и нам стало бы легче. Но девочка прошла мимо.

Какое ей до нас дело? Мы грустные, а она веселая.

— И чего ей смешно? — всхлипнул Ленька.

— Может, у нее мама приехала? — спросил я.

Мы вернулись домой и сели пить чай. Делали мы это для того, чтобы убить медленное время. Выпили по целых три чашки.

И когда нам стало уже не грустно, а страшно-вато, приехала мама Надя.

Она улыбалась и молчала. Она и без наших рассказов поняла, что мы во всем раскаиваемся.

ЛИВЕНЬ ДАВНО УТИХ

Я даже не знал, с чего начать это письмо. За стеной Ленька камнем вбивал гвоздь в доску и напевал песенку, слова которой мы придумали вместе:

Ах, Мари, Мари, Мари.
Зачем ты съела сухари?
Зачем ты съела винегрет?
Зачем ты съела белый хлеб?

Ленька провинился сегодня утром — соврал. Мама Надя сказала, что если он будет говорить правду, то спать будет крепко-крепко. Спать Ленька не любил, но дал слово, что постарается не врать.

— Зачем ты съела сухари? — весело напевал он и стучал камнем.

Ему легко жить — он верит, что если вбить в доску гвоздь, то обязательно получится корабль.

Вот он, видимо, вбил гвоздь, ушел на улицу и унес песенку с собой... Нет, песенка осталась. «Ах, Мари, Мари...» — начал я напевать и даже привскочил от злости. А глупая песенка, словно смеясь надо мной, пелась и пелась у меня в голове... Нет, это просто издевательство — ушел, а песенку оставил...

К вечеру на дачный поселок вылилась стра-

шенная гроза, злая и громкая. С потолка за-
капало.

— Тонем! Тонем! — радостно кричал Лень-
ка. — Затопляемся!

Весь пол мы устали кастрюлями и тарел-
ками. Тяжелые капли отрывались от потолка
и падали, поднимая трезвон-перезвон.

— Красота, — сказал Ленька, — ни разу в жиз-
ни такой грозы не видал. А вы?

Мы отрицательно покачали головами, хотя
однажды видели грозу похуже этой.

Помню, приехали мы из родильного дома с
Надей и Ленькой. Тогда я и стал звать ее ма-
мой Надей, потому что — худенькая и лег-
кая — она совсем не походила на мамашу.

Все гости были веселые, и только рыженькая
Леночка даже не улыбалась. Я решил, что она
просто устала: ведь это она навела в комнате
порядок, приготовила угощение и выстирала
первые пеленки.

Когда гости ушли, мы с мамой Надей, не сдер-
жавшись, поцеловались, обалделые от сча-
стья.

А Леночка вдруг расплакалась. Плакала она
долго и громко. Бывает так — надо человеку
выплакаться. И мы не приставали с расспро-
сами.

Началась гроза. Казалось, молнии летали око-
ло самого окна, а гром бухал прямо над по-
толком.

Леночка сказала:

— Я пойду.

И сколько мы ни уговаривали ее, она ушла.
Я выглянул в окно. Леночка шагала спокойно,

заложив руки за спину, высоко запрокинув голову, будто для того, чтобы ливень смыл ей слезы.

Мама Надя потянула меня за рукав, я выбежал на улицу и у ворот догнал Леночку.

— Нет, нет, нет... — бормотала она. — Я пойду, пойду... Я не могу с вами, не могу... Вы... Вы счастливые! — она тонко всхлипнула.

Ливень хлестал Леночку по лицу, и все-таки я видел, как из ее васильковых глаз бежали слезы. Их нельзя было спутать с дождевыми каплями. Слезы были крупнее и светлее.

Потом мы сидели с мамой Надей над Ленкиной кроваткой и чувствовали себя виноватыми. Как-то стыдно было быть счастливыми, когда рядом — чужое горе.

Трудно жилось Леночке одной. Всех она умела утешить, но не себя. У васильковых глаз появились морщинки. Меньше стало кудрей в рыжеватых волосах.

...Ливень давно утих, а в комнате еще долго слышался трезвон-перезвон.

Ленька умчался бегать по лужам.

Видимо, у меня было такое измученное лицо, что мама Надя предложила:

— Не пиши. В конце концов, это не наше дело. Я заткнул пузырек с чернилами пробкой, убрал бумагу и ручку в тумбочку.

Мы вышли на берег. Мутная, рассерженная грозой Кама недовольно плескалась.

— Конечно, не наше дело, — сказал я.

Мама Надя вздохнула, и я понял, что мы стараемся обмануть друг друга. В том-то и беда, что это наше дело.

Я вспомнил, как появился у нас в конструкторском бюро Паша, толстый, добродушный увалень. Вспомнил, как вскоре разгладились морщинки у васильковых глаз Леночки, буйно закудрявились рыжеватые волосы.

Вчера была помолвка. Через неделю регистрируются и — свадьба. Леночка попросила нас честно сказать свое мнение. Мы обозвали ее глупой. Какие тут нужны советы? Женитесь да живите себе на здоровье!

— А все-таки напишите мне письмо, — сказала Леночка.

Мы проводили их до пристани и вернулись. На ступеньках лестницы я увидел маленький, вчетверо сложенный листок бумаги. Мне не надо было поднимать его. Мне надо было пройти мимо или изорвать его, не читая.

Но я поднял листок и прочитал.

На душе у меня стало мерзко, будто я заглянул в замочную скважину и увидел то, на что посторонним лучше не смотреть.

Я отдал письмо маме Наде, и она, которая плачет редко, тут не могла сдержаться.

— Предположим, мы этого письма не видели, — сказал я.

Мама Надя ответила:

— А мы его видели.

Утих ветер.

Кама посветлела.

Если бы сейчас рядом оказался Паша, я...

А что я мог сделать? Дать ему по физиономии? Разве легче будет от этого Леночке? Разве легче будет сыну и женщине, которых Паша оставил в соседнем городе?

«А какое тебе дело? — спросил я себя. — Ну, совершил человек ошибку... Леночку он любит. Будет у них счастье. Какое ты имеешь право вмешиваться в чужую судьбу?»

Предположим, мое дело — сторона. Сыграют свадьбу, пролетят месяцы или годы, и вдруг грянет гроза, прибежит к нам заплаканная Леночка и крикнет:

— Обманул!

А потом взглянет нам в глаза и добавит:

— И вы обманули.

Тихая была ночь. Мне казалось, что я слышу, как дышат деревья. Все вокруг было вымыто грозой. Все было чистым и свежим.

Крепко спал Ленька.

Мама Надя стояла у окна.

Я писал. Буквы получались крупными, злыми, фразы — короткими. Я писал и видел, как у Леночкиных глаз появляется все больше и больше морщинок.

Казалось, что снова поднялась пыль с дорог, перестали дышать деревья, и уже не было вокруг послегрозовой чистоты.

Крепко спал Ленька.

Мама Надя стояла у окна.

Я входил в чужую жизнь и отнимал у Леночки долгожданное счастье.

Утром Кама была голубовато-серой. Слева на горизонте сквозь дымку виднелся город, справа — синие дали.

Мимо плыл теплоход, на нем ехала веселая музыка, вылетала из радиодинамиков и плыла,

не отставая, за судном. Хотелось задержать ее, но она плыла и плыла вниз по течению. После свадьбы Леночка мечтала прокатиться на пароходе, а мы собирались помахать ей с берега.

Скрылся из виду теплоход.

Вместе с ним скрылась и веселая музыка.

Я направился по берегу туда, где на здании клуба висит почтовый ящик.

1957 г.

ЭТОТ КРАСИВЫЙ МОРЯК

— Опять ты обидел ее? — спросил я Леньку. — Выпороть тебя не мешало бы за такие дела.

Ленька ответил:

— Детей бить нельзя. Вчера по радио передавали.

Он стоял передо мной, опустив круглую, наголо остриженную голову, и время от времени проводил руками за резинкой своих грязных, бывших когда-то желтыми, трусиков. Делал он так не потому, что они спадывали, а, наоборот, потому что резинка была тугой. Утром мама Надя советовала ему надеть другие трусики, иначе живот заболит, но Ленька упрямо заявил:

— Замечательные трусики, а резинка у них слабая. И живот у меня, будь спокоен, закаленный.

Теперь живот его был в красных вдавленных полосах, будто его бечевками стягивали. Лицо у Леньки было вымазано сажей — это он играл в негра.

Мама Надя воскликнула:

— Ведь вчера только ты дал слово вести себя хорошо!

Ленька и пришел ко мне жаловаться.

— Зачем ты обидел ее своим отвратительным поведением? — спросил я.

— Она говорит, что у меня твой характер, — с гордостью ответил сын и, понизив голос, добавил: — Она все равно меня любит. И тебя тоже.

— Ты думаешь, что тебе не попадет?

— Может быть, попадет, — согласился Ленька, — но она нас все равно любит.

Ему попало, и здорово. Во-первых, его не отпустили бросать гальки в Каму, во-вторых, вымыли горячей водой, в-третьих, сказали, что в ближайшее время, впредь до особого распоряжения он не получит ни одной мороженки.

Сейчас Ленька был чистенький, свеженький и притихший.

— А вот на крышу вылезу, — спросил он, — попадет?

Я кивнул.

— А она меня все равно любит.

Ленька был прав. Мама Надя любила нас и прощала нам все. Иногда, правда, нам доставалось, но в конце концов мы получали прощение. И мы всегда думали: простит! Не выгонит же она нас из дому! Куда она без нас денется? Кому в воскресенье будет пирожки стряпать?

Но в этот день мама Надя, видимо, решила доказать нам, что ее терпению и любви пришел самый настоящий конец.

Днем мы с Ленькой, убедившись, что она спит и ничего не слышит, вылезли через окно на крышу (что нам было строжайше запрещено).

Такую мы увидели красоту, что забыли обо всем.

Хлопнули створки окна, и раздался спокойный голос мамы Нади:

— Вы хулиганы. Вам хочется упасть с крыши и поломать себе ноги. Пожалуйста, падайте сколько вам угодно. Мне это абсолютно безразлично, потому что обоих вас я уже ни капельки не люблю.

А мы и не поверили. Мы подумали, что кого же ей еще можно любить, если не нас?

Мы сидели на крыше, пока нам не надоело, ждали, что мама Надя позовет нас и тут же простит.

Но она не звала нас.

Когда мы влезли через окно в комнату, то не увидели мамы Нади. Мы сбегали на пристань, заглянули в магазины, к знакомым — нет. И все-таки мы были уверены, что она простит нас, и не очень беспокоились ее исчезновением.

Не беспокоились, пока не увидели у калитки нашей дачи моряка. На белом кителе его сверкали изумительной красоты пуговицы, на груди были ордена и медали, а сбоку висел кортик.

Солнечный луч попал на золото кортика и стрельнул мне в глаз. Я зажмурился.

Мы стояли, разинув рты. Это был красивый моряк и, наверное, смелый.

Тут мы вспомнили, как однажды мама Надя сказала нам, что у нее есть знакомый моряк, с которым она училась в школе, что этот моряк никогда ее не обижал, даже тогда, когда

еще и не был моряком, и что он, между прочим, красивее нас обоих, и что она выйдет за него замуж, если мы будем вести себя плохо, и будет у них новый сын, получше, чем Ленька. И тут нам стало не по себе.

А моряк спросил, где ему разыскать женщину по имени Надя, фамилии которой он не знает, потому что она вышла замуж и переименовала фамилию.

Как нам хотелось обмануть этого красивого моряка! Как нам хотелось сказать ему, что никакой Нади здесь нет, а если даже она здесь и живет, то его это нисколько не касается, пусть плавает по своим морям и океанам и не ездит сюда совсем. Нечего ему здесь делать. Но мы не соврали, мы сказали, что Надя живет здесь, что она наша: вот я — ее муж, а он, Ленька, ее сын.

И показалось, что моряк взглянул на нас с усмешкой. Дескать, невозможно даже и подумать, что Надя могла променять меня на вас. Вот возьму и увезу ее с собой, а вы тут живите как знаете.

— А она нас любит, — дрожащим голосом сказал Ленька. — А то, что мы иногда ссоримся, это ерунда.

— Ссоритесь? — спросил моряк. — Почему? Что ответить, мы не знали, потому что сейчас действительно не могли понять, зачем мы с ней ссорились и обижали разными глупостями.

— Можно ее подождать? — спросил моряк.

Вздыхнув, мы ответили, что можно.

Мы даже угостили его чаем.

Моряк съел три шоколадные конфеты.

А мы не теряли времени даром: натаскали полный бак воды, чтобы мама Надя была довольна; начистили овощей для супа, подмели пол.

А моряк стоял на балкончике и курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

Мы знали, о ком он думает. Мы знали, что она любит нас, а не его, хотя он и красивый.

И все-таки нам было очень невесело.

— Может, она сегодня и не придет! — громко, так, чтобы слышал моряк, сказал Ленька. — Возьмет да и не придет!

Мама Надя тут же пришла.

Она не обратила на нас внимания, поцеловала моряка и проговорила:

— Хорошо, что приехал.

А моряк развернул сверток и протянул ей набор духов в зеленой коробке.

Мы чуть не закричали от возмущения. Он хитрый, этот красивый моряк! Он подарил ей именно тот набор, о котором она давно мечтала.

— А сегодня не Восьмое марта, — насмешливо сказал Ленька.

— Есть на свете люди, — ответила мама Надя, — которые хорошо ко мне относятся всю жизнь, а не только Восьмого марта.

Вот так...

Мама Надя сидела с моряком на балкончике, и они о чем-то говорили, смеялись.

Моряк курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

— Давай залезем на крышу, — предложил

Ленька, — и будто бы упадем. Может, она пожалеет нас?

Мы вылезли через окно на крышу, сели у самого края. Мама Надя отлично видела, что мы рискуем жизнью, но ничего не сказала. Она вела себя так, словно нас не было не только на крыше, но и на свете!

А потом она сказала, чтобы мы готовили себе ужин, а она сейчас уедет в город и пойдет в театр смотреть веселую комедию.

Это было уже слишком, но мы промолчали.

Мама Надя надела свое лучшее платье, наше любимое платье — голубое с белым горошком. — Какая ты красивая, — сказал моряк.

А мы и без него знали, что она красивая! Только не говорили ей об этом. Подумаешь, приехал тут, открытие сделал!

Мы смотрели на моряка и старались улыбаться.

Он был весь блестящий, чисто выбрит, на брюках — острые складки.

— Я больше в негра играть не буду, — шепнул мне Ленька, — а ты почаще брейся.

Мы проводили их до калитки.

— Когда приедешь? — спросил Ленька, шмыгнув носом.

— После спектакля, — весело ответила мама Надя.

Мы долго смотрели им вслед. Если бы вы знали, как нам было обидно!

До поздней ночи мы сидели на балкончике.

И молчали.

Видимо, мы получили по заслугам.

— Кортик у него, по-моему, не настоящий, — сказал Ленька.

— Нет, кортик у него настоящий, — возразил я.

— А может, он и не моряк, — сказал Ленька. — Бывают такие: форма морская, а моря и в глаза не видели.

— Нет, — сказал я, — это настоящий моряк. Он плавал по настоящим морям и океанам. И как бы ему ни приходилось трудно, пуговицы на его кителе всегда сверкали. И как бы ему ни было трудно, он не забывал ее, которую знал еще тогда, когда не был моряком.

— Тогда понятно, — сказал Ленька.

Дачный поселок спал. Одни мы не спали. Ждали маму Надю. И совсем не трудно догадаться, о чем мы с ним думали.

— Ты разбуди меня, если я усну, — попросил Ленька. — Как только она вернется, сразу разбуди. Мне необходимо с ней серьезно поговорить. Ладно?

1957 г.

Архип — это снегирь, симпатичнейшая птица. Купили мы его случайно. Ходили как-то с Ленькой на рынок за картошкой. Идем обратно и слышим птичий гомон. Дело было в декабре, а тут свист-пересвист-чирикание, будто ранней весной, когда каждая живинка свой голосок пробует.

Смотрим: замерзшие мальчишки продают нахохлившихся в клетках птиц.

Спрашиваем у одного мокроносового продавца, сколько стоят его красивые щеглы.

— Пятнадцать штука, двадцать пять пара да за клетку пятнадцать, — протараторил мокроносый продавец.

Таких денег у нас не было.

Потом мы увидели в сторонке маленького грустного человека в мохнатой шапке. В руках он держал клетку со снегирем.

Спросили мы, сколько стоит такая птица.

— За восьмерку отдам. Да за клетку десятку. Всего-навсего восемнадцать рублей.

Мы вздохнули и пошли прочь.

— Пятнадцать за все удовольствие! — грустно крикнул продавец. — Почти бесплатно отдаю Архипа!

Тогда мы честно признались, что денег у нас

одиннадцать рублей — две трешки и одна пятерка.

Грустный продавец внимательно оглядел нас и спросил:

— Любить Архипа будете крепко?

— Еще как! — ответили мы.

— Берите мое счастье за две трешки и одну пятерку! — продавец махнул рукой. — Прощай, Архип! Плакать я без тебя буду дни и ночи.

— Почему же ты продаешь его? — спросили мы. — Почему же ты свое счастье за одиннадцать рублей продаешь? Неужели ты без денег жить не можешь?

— Не деньги мне нужны, — грустно ответил продавец, — я и без денег счастливый человек. А только нету у меня никакой возможности свое счастье держать. Злые люди — соседи — выжили его... Прощай, Архип!

Мама Надя не обрадовалась нашей покупке, сказала:

— Повернуться негде, а вы целый зоопарк принесли.

Мы долго искали место, куда бы поставить клетку. Проще было бы вынести ее на кухню, но там обитал страшный кот Влас, которого боялись даже собаки.

Страшнее Власа была его хозяйка — наша соседка Анастасия Емельяновна. Она завидовала всем счастливым людям, если даже их счастье стоило всего две трешки и одну пятерку.

Больше всего на свете Анастасия Емельяновна любила ругаться. Выйдет она утром на кухню, довольная, радостная, и рассказывает:

— Море я во сне видела. Стою на берегу и с морем ругаюсь. Уж так я его отчихвостила! Мы вспомнили слова грустного продавца о злых соседях и повесили клетку над книжной полкой.

Дали Архипу клюквы.

Возьмет он ягодку, высосет сок и как тряхнет головой — брызги во все стороны.

Потом он запел грустные-прегрустные песни. Жалко нам его стало. Мама Надя открыла клетку. Архип вылетел, сёл на шкаф и запел веселые песни.

Утром мы проснулись от его пения. Нам даже показалось, что комната стала выше и шире. Архип завтракал вместе с нами — прыгал по столу, лузгал семечки, сосал клюкву да воду из блюдца пил.

Я уехал на завод, мама Надя — в библиотеку, а Ленька — в детский сад. Весь день я вспоминал о снегире, и работалось мне очень-очень весело.

Вечером Архип встретил нас радостным пением. Сидим, слушаем — хорошо!

Вдруг на кухне начался трам-тарарам, и раздался голос Анастасии Емельяновны:

— Измучили кота! Птицу развели! А кот волнуется! Нервный стал!

Теперь каждый раз, выходя на кухню, она устраивала трам-тарарам и громко жалела кота Власа.

Мы помалкивали.

Когда я платил деньги за квартиру, домоуправляющий спросил:

— Что же это вы птиц на коммунальной жил-

площади разводите? Антисанитарией почему занимаетесь?

Я объяснил, что антисанитарии снегирь выделяет не так уж много, что...

— Не знаю, не знаю, — перебил домоуправляющий, подозрительно рассматривая меня, словно отыскивая следы снегиревой антисанитарии.

К нам явилась комиссия — целых шесть человек. Так как все сразу они не могли уместиться в комнатке, то заходили по трое и спрашивали, почему мы издеваемся над пожилой женщиной, матерью троих детей. Потом они писали акт, долго беседовали с Анастасией Емельяновой, убеждая ее, что пожилой женщине, матери троих детей, кляузничать стыдно.

— Есть на свете правда, — прижав к груди сонного Власа, отвечала она. — Много вас, бюрократов, развелось! Сегодня они птицу купили, завтра собаку приволокнут, а послезавтра? А? Я со свиньями жить не хочу! — и выставила комиссию за дверь, да еще вдогонку пообещала: — И до вас доберемся!

Через несколько дней меня вызвали в завком и спросили, почему я издеваюсь над матерью троих детей.

Опять приходила комиссия, опять писали акт, опять уговаривали Анастасию Емельяновну не кляузничать, и опять она выставила комиссию за дверь и опять кричала вдогонку:

— Есть правда на земле! Развелось вас, бюрократов, на нашу голову!

К счастью, Влас стянул у нас из супа курицу, и несколько дней мы жили спокойно. Я на радо-

стях починил соседке электрический утюг, переменил шарниры у шкафа, в воскресенье сделал проводку для радио.

Архип распевал вовсю!

По вечерам он купался. Сначала он прыгал вокруг миски, потом садился на край и — в воду. Замрет и — давай трепыхаться.

Пусть вместе с клеткой он стоил всего одиннадцать рублей, жить в его компании было веселее. И мы жалели грустного продавца, который испугался злых людей и расстался со своим счастьем.

Анастасия Емельяновна купила репродуктор. Ну, думаем, будет она теперь слушать радио и... Репродуктор гудел от напряжения. Архип забился в угол.

На кухне начался трам-тарарам. Соседка кричала:

— Подумаешь, образованные! Нарочно кастрюлю не закрыли, чтоб кот ихнюю курицу унюхал! Я знаю, сейчас они насчет радио зажалуются! А что, мне и радио послушать нельзя?

Первой не выдержала мама Надя, сказала:

— Я так не могу. У меня голова заболела.

— Надо сшить шапки с большими ушами, — прошептал Ленька, — и уши закрыть. Пусть себе кричит, а мы ничего не слышим.

Домоуправляющий посоветовал:

— В таких случаях лучше отступить. Сдайте вы свою птицу в зверинец.

Терпели.

Но жалко было Архипа, который даже есть перестал. Решили мы его выпустить.

— Куда же он зимой полетит? — заплакал Ленька.

Мама Надя прикрикнула на него, он заревел еще громче, я рассердился на маму Надю и выскочил из комнаты.

— Послушайте, — ласково, сквозь зубы сказал я Анастасии Емельяновне, — давайте перестанем. Пожалейте нас. Что мы вам плохого сделали?

Презрительно посмотрев на меня, соседка закричала:

— Я издеваться над собой не позволю! Думаете, если у вас образование...

Схватил я пустую трехлитровую банку и трахнул ее об пол. Влас со страху вспрыгнул на стол, и оттуда полетели миски и тарелки.

— Я тебе покажу! — кричал я. — Окна перебью! Ноги переломаяю! Все провода оборву! Что со мной приключилось, до сих пор не понимаю.

Тишина.

Слышу — запел Архип, сначала тихо-тихо, а затем все громче и радостней.

Анастасия Емельяновна посмотрела на меня с уважением и стала подметать пол.

1957 г.

ТОЛСТАЯ ТЕТЯ В ГОЛУБОМ ХАЛАТЕ

Есть такая песенка: «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу».

И очень часто, устав от работы, мы вспоминали эту песенку, из которой знали всего две строчки.

Анапа была для нас — неизвестно почему — символом жизни, пронизанной солнечным светом, теплым и беззаботным краем, где все люди добры и красивы, где есть море — то самое чудо природы, которое мечтает увидеть каждый и которого мы еще не видели.

Белую шляпу я купил зимой. Примерил — здорово! Без шляпы я — самый обыкновенный человек, а надену ее — и появляется в моем облике что-то солидное.

Долго мы не могли собраться в Анапу, пока однажды не взглянули друг на друга и не решили:

— Едем! В Анапу!

Я отказался от нового костюма, мама Надя — от туфель, а Ленька дрожащим голосом заявил, что может прожить и без велосипеда. По крайней мере, это лето.

В поезде нам стало известно, что мы «дикие». Оказывается, так называют нормальных людей, которые едут отдыхать без путевок.

Об этом нам сообщила толстая тетя в голубом халате. Сама она ехала в дом отдыха. Мы не стали ее расспрашивать, для чего ей ехать в дом отдыха, ведь еще больше растолстеет! Пусть, не жалко...

— Надену я белую шляпу, — запел Ленька.

— А где шляпа? — спросила мама Надя.

Стали искать.

Даже в чемодан заглянули.

Пропала шляпа!

— Вот, пожалуйста, — сказала толстая тетя в голубом халате, — плацкартный вагон. В купированных вещи не теряются. А всего лучше ехать в мягком.

— Встаньте-ка, — попросила мама Надя.

Тетя встала, мы взглянули на сиденье — шляпы как не бывало. То есть она была, но главного — вида у нее уже не было. А у шляпы главное — вид.

Тетя чуть не расплакалась, предлагала нам деньги, свою шляпу, хотела записать наш адрес. Мы объяснили, что шляпы нам не жалко почти, выбросили ее в окно и помахали на прощанье рукой.

А в Москве на вокзале мы ловко сбежали от тети.

Надо ли рассказывать, как хорошо нам было? Мы долго стояли на Красной площади, смотрели на смену почетного караула у входа в Мавзолей, прошлись по улице Горького, потолкались в арбатских магазинах и — сели в поезд. В купе с нами ехал студент и важный дядя. Студент у соседей дни и ночи играл в преферанс, и мы его почти не видели.

Важный дядя смотрел на нас с презрением, будто мы были безбилетниками.

На крючке над его головой покачивалась белая шляпа — точно такая же, какая была у меня, пока на нее не опустилась толстая тетя в голубом халате.

Весь день дядя спал с газетой в руках. Если она соскальзывала, дядя моментально просыпался, ловил ее и мгновенно засыпал.

Мы уважали его до боязни и разговаривали при нем шепотом. Стоило нам заговорить чуть погромче, как дядя открывал один глаз, и мы замолкали.

Усатая проводница покрикивала на всех пассажиров, а важный дядя покрикивал на нее, и она виновато кивала головой.

Анапа оказалась похожей на деревню, и не было в ней ничего особенного, кроме моря и солнца.

Сначала мы даже и не поверили, что перед нами самое настоящее море. Оно пахло водорослями и солью, глубиной и свежестью. Оно было разноцветное и живое. А мы были счастливыми.

— Я морем напился! Я морем напился! — восторженно кричал Ленька. — Честное слово, оно само мне в рот заскокнуло! Оно соленое! К вечеру мы обнаружили, что нашим соседом был тот важный дядя, с которым нам пришлось ехать сюда в одном купе.

Он — будто ни разу в жизни не видел нас! — прошествовал мимо, а мы даже поздороваться испугались.

Собачонка Чижик бросилась к нему с радост-

ным визгом, но дядя так посмотрел на неё, что она примолкла и виновато замахала хвостиком.

Дядя вынес во двор раскладушку, лег, развернул газету и захрапел — солидно, с достоинством.

Мы сидели в беседке под огромным раненым тополем. Ранило его осколком снаряда в войну. И хотя он не упал, хотя попрежнему одевался листвой, большое дупло напоминало о его беде.

Над нами было густое небо. Невдалеке ровно дышало живое море.

— Он ведь тоже герой, да? — спросил Ленька, глядя тополь.

— Герои — это которые с орденами, — насмешливо ответил из темноты важный дядя. — А будь ты хоть весь в дырках...

— Пора спать, — перебила мама Надя и повела Леньку в дом.

А Ленька спросил:

— Этот дядя в дырках или нет? Как потвоему?

Когда они ушли, я сказал:

— Зачем же это вы при ребенке...

— И дети с малых лет должны правду знать, — проговорил дядя таким наставительным тоном, что я побоялся спорить.

С утра мы уходили к морю и возвращались поздно. Если Чижик встречал нас радостным лаем, мы знали: дяди еще нет дома. Если Чижик виновато махал хвостиком — значит, дядя спал во дворе с газетой в руках.

Как-то я сидел в беседке один. Распахнулась

калитка, ко мне нетвердыми шагами подошел важный дядя и плюхнулся рядом.

— Отдохнуть надо без семьи, — заговорил он. — Что за отдых, я не понимаю, с детьми и женой? — От него несло спиртным, и слова он произносил с трудом, будто боролся с ними. — У меня жена... — дядя загадочно округлил глаза, словно намереваясь сообщить тайну, — вот такой ширины... — И показал руками размеры своего собственного корпуса. — Королева Марго... — Он достал из кармана бутылку, налил в стакан. — Ну, будем здоровы и прочее... — Выпил и облизнулся. — Не вино, а ситро. Вообще безобразий у нас — куда ни ткнись, везде... Дядя выпятил толстые мокрые губы. — С водкой и то перебои бывают.

— Семья у вас большая? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Семья? — он как-то странно хмыкнул или хрюкнул, будто его коротким ударом стукнули по горлу. — Семья... семья... — с одной и той же кислой интонацией повторял дядя. — Сыни две примадонны. Вот летом и отдыхаю... живу! — он хлопнул себя по широкой пухлой груди. Жесткие волосы на ней прокалывали шелковую рубашку. — Я вообще... — он плотоядно осклабился. — А что? Надо жить. Жить надо... Вот вы своего ребеночка от правды бережете. А зачем? Нет, я своим чадам говорю, что сволочь, она завсегда легче живет.

Казалось, что дядя не произносил слова, а жевал их и выплевывал. Он, давясь, допил остатки вина, взял бутылку за горлышко и швырнул в сад.

— Это свинство, — сказала из окна мама Надя, — поднимите бутылку.

— Хозяин уберет, — сказал важный дядя. — Вы его не жалейте, спекулянта. Сидят на нашей шее, фрукты-овоци... Вот вы, — нагнулся он ко мне, — вроде бы интеллигент, а на шляпу, на шля-пу заработать не можете!

Хохотнул и ушел, ломая кусты.

Утром мы лежали на пляже и обсуждали, переезжать нам на другую квартиру или нет.

Вдруг слышим Ленькин голос:

— Здравствуйте, тетенька.

Смотрим: а это наша знакомая — толстая тетя в голубом халате.

Ветер откинул полу халата, и мы увидели над коленом большой глубокий рубец. Некрасивый.

— С войны осталось, — виновато сказала она, запахивая халат, и повернулась к морю.

А оно, живое и сильное, подползало к ее ногам.

Здесь, у берега, оно было мутное, а там, где летали чайки, — чистое, прозрачное — чудо природы...

1958 г.

ДЕД

Говорили, что он умер оттого, что ушел на пенсию. И хотя это невозможно ни доказать, ни опровергнуть, — кровоизлияние в мозг могло произойти и раньше и позже, — я согласен. Понимаете, есть что-то очень жестокое в том, что человеку, отдававшему всю жизнь работе, приходится бросать ее сразу.

Помню удивленное, виноватое, растерянное лицо Ленкиного деда, когда он утром, тяжело и громко вздыхая, слонялся по квартире — в первый день пенсии. И всем нам было почему-то неловко, неудобно перед ним.

За несколько дней он постарел, еще больше сгорбился. Не знаю, что бы он делал, если бы не внук.

Отношения Ленки и деда можно было определить только одним словом — дружба. В ней не было приливов и отливов, взлетов и падений — ровное, неизменное чувство.

Пятилетний внук и пятидесятивосьмилетний дед отлично понимали друг друга. Объяснялось это, видимо, еще и тем, что нам, занятым повседневными делами и каждодневными обязанностями, некогда было заглядывать в свои и чужие души. Ведь жизнь делает сначала человека черствым: разрушая юношеские

иллюзии, она дает взамен умение ограничивать себя в желаниях. Но с годами человек, нисколько не отказывая жизни в виртуозной способности кромсать иллюзии, приходит к мысли, что надо быть таким, каким ты и явился в этот мир — наивным, простодушным, сердечным и все открывающим заново.

Вот на этом старость и детство сходятся в отличие от молодости и зрелости, у которых почти нет точек соприкосновения. Старик умом, а младенец сердцем чувствуют, что жизнь прекрасна сама по себе, если люди не вредят друг другу, и надо пережить многое, чтобы уметь радоваться тому, что иные считают пустяками.

О, как они — дед и внук — умели жить! Как они умели из самых обыкновенных, зауряднейших дел делать радостные события! Даже из трамвайной поездки они приносили столько впечатлений, что разговоров и переживаний хватало надолго.

Деду не хотелось, чтобы люди замечали его старость, и он был благодарен внуку, когда тот заставлял его играть в футбол. Ленке хотелось быть взрослым, и дед, понимая и уважая его желание, покупал ему в трамвае билет, и вместе с ним радовался появлению контролера.

Жили мы тогда рядом с кладбищем, и похоронные процессии были для нас обычным, а для Ленки веселым зрелищем.

Когда старуха из соседнего подъезда радостно спросила:

— А если помрет дед-то?

Ленька ответил:

— А я бум-бум-бум! — изображая удары медными тарелками.

Старуха долго хихикала, смущенно закрывая лицо рукой.

Потом я получил комнату, и дед почти каждый день через весь город приходил навещать своего друга.

Последний раз он зашел к нам дня за два до смерти, сидел какой-то притихший, часто проносил «да-а», не сводя глаз с внука и уже у порога сказал:

— Если умру, тульская двустволка и патронташ твои.

...Ночь я почти не спал, думая, какими словами передать сыну тяжкую весть.

Ленька проснулся необычно рано — вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Ты уже не маленький, — проговорил я, — ты должен понимать...

— Дед умер, да? — перебил Ленька.

Я кивнул.

Лицо его оставалось спокойным, задумчивым.

Он долго лежал молча, потом спросил:

— Значит, теперь тульская двустволка моя будет?

Я кивнул.

— И патронташ?

Признаюсь, мне стало не по себе. И только значительно позднее я догадался, что мерял ощущения сына с точки зрения взрослого человека. А еще можно спорить, чья точка зрения в таких случаях разумнее и естественнее.

Мы молча прошли через весь город. Лишь у подъезда Ленька сказал:

— Уведи меня отсюда.

Так я и сделал — отвел его к знакомым. Они потом с удивлением рассказывали:

— Играл, бегал, смеялся — будто ничего и не случилось.

Лишь через неделю, вечером, когда об окно ударился ветер, Ленька спросил:

— А носовой платок у него с собой есть?

Утром он отнес на могилу носовой платок, на котором сам вышел зелеными нитками верблюда.

У могилы он стоял долго. Лицо его было задумчиво.

Вообще, можно было только догадываться, о чем он думал в эти дни. Да, он играл, бегал, смеялся, но это был уже не тот Ленька, что прежде. В чем заключалась перемена, не берусь определить. Но перемена была, и не внешняя, а внутренняя. Скорей всего, что впервые в жизни Ленька испытывал одиночество, причем одну из его самых острых форм, когда чувствуешь себя одиноким не потому, что у тебя нет близких людей, а потому, что они-то есть, а одного все-таки нет. И не хватает его!

Может быть, впервые в жизни Ленька ощущал тот непреложный факт, что один человек не может заменить другого, даже если он лучше его.

Временами мне казалось, что Ленька просто не в состоянии понять, что такое — умер. А временами — да простится мне! — я думал,

что только он один по-настоящему понимает это.

Ведь мы жалеем умерших, измеряя боль той пустотой, которую они образовали в нашей жизни своим уходом. Гораздо реже мы жалеем умерших из-за того, что они не испытали всех радостей.

Однажды мы пришли навестить бабушку. И вдруг явилась молоденькая, розовощекая девушка штрафовать деда за задержку книг из библиотеки. Девушка, видимо, понятия не имела о смерти — возмущенно доказывала, что можно было найти время и вернуть книги. Ленька сказал ей:

— Если бы он не умер, он бы сдал книги. Он был очень хороший дедушка.

И девушка больше не спорила. Ушла.

Мы часто вспоминали деда. Неужели обязательно нужно умереть, чтобы доказать, что ты всем нужен, что без тебя, оказывается, тебя недостает?

Создавалось впечатление — по крайней мере у меня, — что Ленька таил свою боль, а мы, взрослые, передавали ее друг другу.

Он, можно сказать, любил бывать на кладбище. Как это ни странно, весной здесь было очень хорошо. Тишина, какая-то умиротворенность, зелень и еще что-то... Что? Наверное, то, что все атрибуты смерти не производили никакого впечатления по сравнению, предположим, с радостной голубизной неба. Одна и та же мысль приходила в голову: первое, что вызывает вид смерти, — это жажда жить.

Каждый день Ленька приносил деду пода-

рок — то пластмассового солдатика, то рисунок, то вышивку, то пластилинового космонавта. На другой день, если вещь не исчезала, он уносил ее обратно.

Когда он вспоминал о деде, глаза его становились задумчивыми, немного недетскими, с примесью удивления, но не грусти.

Однажды я пришел на кладбище, чтобы переменить воду в банке с цветами. Подойдя к знакомой оградке, я остановился в изумлении: взявшись руками за железные прутья, Ленька разглядывал фотографию деда.

Я не окликнул сына. Он обернулся сам, сказал:

— Хороший был дедушка. Не понимаю только, зачем он умер? Я буду таким, как он. Буду большой, заработаю денег, поставлю ему красивый памятник. Чтобы он на коне сидел, а в руках красное знамя. Да?

Словом, жизнь текла своим чередом.

Тульская двустволка висела на своем месте.

Патронташ — тоже.

1959 г.

ВЕТОЧКА

Я люблю видеть сны, такие, чтобы, проснувшись, закинуть руки за голову и долго вспоминать увиденное.

Только редко я вижу хорошие сны. Мама Надя объясняет это моей привычкой спать на левом боку. Дескать, надавишь на сердце, сожмешь его, тяжело ему биться, и сны от этого беспокойные.

Ленька спит и на левом боку, и на правом, и на спине, и на животе, а сны видит замечательные.

Приснилась ему, например, пальма. Будто жили мы в горячей Африке, воткнули в песок веточку, стали ее поливать, и выросла пальма, а на ней мартышки сидят, улыбаются.

— Мартышки тоже из веточки выросли, — объяснил Ленька, — прямо как яблоки.

Посмеялись мы и забыли про этот сон.

Но теперь, когда Ленька садился рисовать, на листе бумаги одна за другой появлялись пальмы. Были они длинные и разноцветные. Мартышки были круглые и тоже разноцветные. Через несколько дней Ленька еще раз увидел во сне пальмы. Испуганно и удивленно рассказывал он:

— Вы подумайте, пальмы росли в снегу! В хо-

лодном снегу! Мартышек, конечно, не было. Ни одной мартышечки. А пальмы были.

Кто его знает, может, Ленька и выдумал этот сон, выдумал — и поверил.

Вечером он ушел кататься на лыжах. Возвращался он всегда с шумом: хлопала дверь, раздавался стук упавших лыж, звенел радостный голос:

— Есть хочу!

А тут Ленька вошел тихо, и сам он был тихий. В руках он держал черную от угольной пыли палочку с засохшими листьями.

— Зачем ты принес эту грязь? — спросил я.

— Что ты... — прошептал Ленька. — Это веточка. — В серых глазах его было изумление. — Это, конечно, не пальма, но она вырастет. Вот увидишь, у нее будут листья. Зеленые такие листочечки.

— Сейчас зима, — ответил я, — разве зимой растут листья? — И, чтобы не огорчать сына, добавил весело: — Вот когда мы будем жить в Африке или Анапе, тогда другое дело.

Ленька с сожалением покачал головой и, словно опасаясь, что я отберу у него веточку, стал снимать пальто, не выпуская ее из рук.

Он налил в бутылку из-под кефира воды и всунул туда веточку. Вода сразу стала темноватой, будто в нее капнули чернил.

Ленька, видимо почувствовав мое неверие, сказал:

— Ну и что? Пусть не вырастет. Здесь ей тепло. А в снегу холодно. Пусть хоть согреется. — Он переменял воду, поставил бутылку на стол и спросил: — Чья же она?

А это была веточка шиповника: на ней со всех сторон торчали острые шипики-коготки.

— Колются-колятся! — радостно кричал Ленка, трогая их пальцами. — Нет, нет, они не дадут ее в обиду! — И посматривал на меня.

Сухие твердые листья пришлось оторвать — они отпадали при первом прикосновении.

Мама Надя ничего не заметила, когда пришла домой, и я сказал:

— Посмотри. Он уверен, что на этой палочке вырастут листья. Вот сейчас, зимой.

— Нет, — ответила мама Надя, — сначала появятся почки.

— А потом мартышки, — насмешливо добавил я.

Злая пурга шуршала по окну снежной крупой.

— Ты молодец, — сказала мама Надя Ленке, — молодец, что пожалел веточку. Поставь ее на подоконник к батарее. Там тепло и светло.

Мне было неловко перед ними, хотя я действительно не верил, что сухая веточка-палочка зазеленеет, да еще зимой.

А друзья мои верили. Они каждый день меняли воду. Утром, едва проснувшись, Ленка бросался к окну.

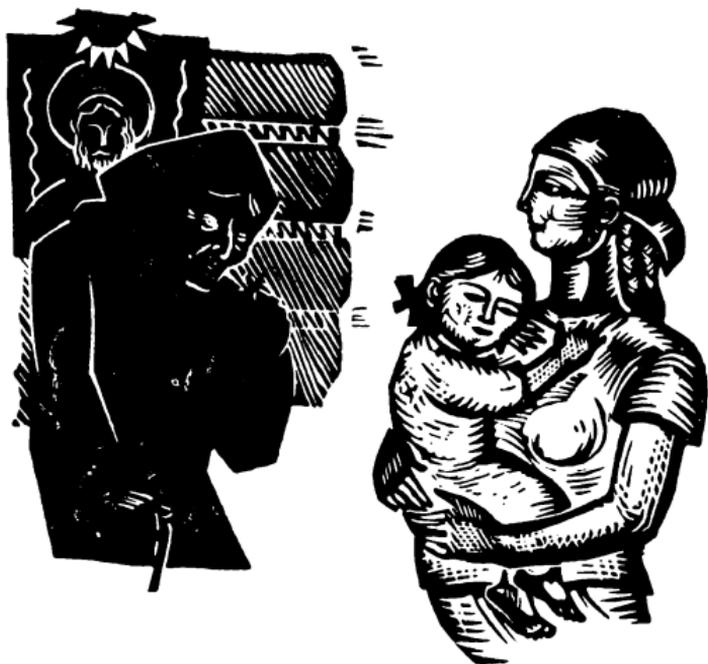
Когда их не было в комнате, я внимательно разглядывал веточку и — жестокий человек! — думал: «Эх, друзья, напрасно стараетесь...»

Как-то утром Ленка не бросился к подоконнику.

В этот день он не переменял воду в бутылке.

— Глупая ветка! — с отчаянием воскликнул
Ленька. — Надо ее выбросить!
И даже мама Надя промолчала.
Никто из нас не решался выбросить веточку.
А в окно стучалась пурга.
Приснился мне замечательный сон: будто бы
наша веточка зазеленела... Проснувшись,
я долго лежал, закинув руки за голову.
Ленька, как и я, спал на левом боку. Лицо
у него было счастливое.
Он открыл глаза и — бросился к подокон-
нику.
— Спасибо, веточка... — услышал я.
Ленька осторожно взял бутылку двумя руками
и поднес ко мне.
Почки на веточке набухли, лопнули, в них вид-
нелось что-то очень светло-зеленое.
— Вот, — устало сказал Ленька, — а захотел
бы, так и мартышки бы выросли. Девять
штук.
За окном жалобно повизгивала пурга.

1958 г.



ТЕТРАДЬ
ТРЕТЬЯ



ПЕТРОВНА

— Устиновна-а-а! — надрываясь, кричит старуха. Она стоит на крыльце избы, прислушиваясь, оттянув от уха платок. Ответа нет, и она снова кричит, от усилия приподнимаясь на цыпочки: — Устиновна-а-а!

Молчит деревня, не откликается.

Тогда старуха произносит спокойно:

— А и будь ты проклята.

И садится на крыльцо, свесив голову, упершись в доски жилистыми пальцами, и широкие, острые плечи ее торчат, как крылья большой ощипанной птицы.

Пятилетняя Устиновна спряталась за сараем в огороде. Когда крики смолкли, она осторожно двинулась сквозь заросли крапивы, временами тонко, почти неслышно попискивая.

Старуха снова встает на крыльце и кричит:

— Устиновна!

Девочка уже стоит за углом избы, в трех шагах от бабушки, и молчит. У нее бледное, незагорелое лицо, какое редко встретишь в деревне; прямые льняные волосы закрывают шею и на концах загибаются вверх; по середине головы от лба к макушке тянется прямой пробор — полосочка розовой кожи. Глаза у девочки голубые, пронзительные, не дет-

ские, будто она смóтрит на что-то нехóрошее, взрослое и все понимает.

Держится Устиновна странно. Нет в ней юркости, как говорит бабушка. Явно кому-то подражая, девочка иногда делает что-то похожее на движения, какими женщины поправляют груди, или вдруг пройдетя так, как ходят женщины — играя телом.

— Тьфу, пакостница! — сплюнет старуха, а Устиновна зальется смехом, сразу становится обыкновенной девочкой, и глаза ее смотрят с лукавым любопытством.

Невдогад старухе, что она сама надоумила внучку так проказить. Устиновне нравится наблюдать, как злится бабушка, а рассердить ее можно только вот этими фокусами.

Бабушка сидит неподвижно, будто дремлет, опустив веки. Они очень выпуклы и почти черны, загорелое лицо в белых морщинах.

Устиновна зажимает рот рукой, сдерживая смех, но он вырывается сквозь пальцы, и девочка убегает к сараю.

Отхохотавшись, она возвращается обратно и снова наблюдает за старухой. Подойдя, Устиновна наклоняется к ее уху и что есть силы кричит, почти визжит:

— И-и-и!

Старуха вскакивает и успевает схватить внучку за руку, держит цепко, дышит громко, прерывисто выговаривая с трудом:

— Погибель моя... выродок...

Далее следуют самые отборные ругательства. Старуха произносит их без всякого выражения, будто читает неразборчивый текст.

Затем она начинает бить Устиновну, но делает это неловко и без злости. Внучка увертывается от ударов и не плачет, а деловито подвывает. Изловчившись, старуха попадает своею сухой, но тяжелой ладонью по внучкиному заду, и тогда Устиновна ревет по-настоящему, громко, с удовольствием.

Выждав, старуха произносит удовлетворенно: — Обедать пора.

И будто ничего не случилось, она гладит внучку по голове, девочка обнимает старуху одной рукой за ноги, и они идут в избу.

Насколько изба ветха и неприглядна снаружи, настолько добротна и аккуратна внутри — явный признак отсутствия в семье мужских рук. Некрашенные полы из широких досок здесь моют с песком, который растирают голиком — огрызком веника.

У порога старуха снимает лапти, а Устиновна ненадолго встает босыми ногами на влажную тряпку.

Накрыв на стол, бабушка за руку подтаскивает девочку к переднему углу, где друг над другом сбились в кучку потемневшие иконы.

Устиновна знает, что вслед за бабушкой надо прикладывать три пальца сначала ко лбу, потом к животу и к плечам. А самое интересное — поклоны. Кланяясь, девочка старается как можно громче стукнуться лбом об пол.

Увлеченная молением, бабушка и на этот раз ничего не заметила.

Есть у девочки еще одно развлечение: она не просто прикладывает пальцы, когда молится, а почесывает ими лоб, живот, плечи... Смешно!

После обеда они ложатся на полу, постелив старый тулуп, и бабушка начинает рассказывать про бога. Каждый раз Устиновна засыпает при первых же словах...

С нетерпением ждет девочка вечера, и чем ближе он, тем чаще выбегает она за ворота.

Мать приходит уже в темноте. Устиновна прижимается к ней, чувствуя, какая она большая и горячая, сильная. Дочь старается удержать ее на улице, чтобы мать не входила во двор. Мать и сама не торопится. Долго стоят они перед воротами. Вздохнув, мать подхватывает Устиновну рукой под коленки и несет.

Старуха ждет их на крыльце и не говорит, а шипит:

— Пришла, шушера...

Мать улыбается виновато.

Устиновна показывает бабушке язык. Она не любит старуху только за то, что та свирепеет при одном упоминании имени своей дочери. Детский ум Устиновны не может разобраться в том, почему большая сильная мать покорно переносит все обиды.

А старуха ворчит и ворчит:

— Блудница... распустила вожжи... бойся богато... держи себя... не охоться...

Лишь изредка мать отвечает:

— Нету бога, значит, и греха нету.

—А это? — И Устиновна чувствует в темноте, что бабушкин палец направлен на нее. — Грех! Грех! Молись...

Мать лежит рядом с Устиновной на спине, раскинувшись будто на поле, и все ее жаркое тело дышит.

— За что она тебя? — спрашивает Устиновна. Но мать не отвечает — спит. Грудь ее тяжело и плавно вздымается, словно камень лежит на ней.

Ничего еще не понимает дочь — и счастлива поэтому. Не знает даже, почему бабушка зовет ее Устиновной, хотя по документам она Петровна.

В страшные военные годы, когда в деревне не осталось ни одного мужика, появился здесь однорукий солдат Устин. Дело прошлое, чего греха таить, оставил он у нескольких вдов и девок по ребенку и исчез куда-то.

Вот и звала старуха свою внучку Устиновной, хотя родилась она после войны и был у нее отец — городской шофер, приезжавший в колхоз на уборочную.

Ничего он не обещал Арине, ничего даже и не говорил более или менее подходящего для таких случаев, просто останавливал грузовик ночью во дворе, ел, пил, а утром отправлялся в путь.

В город он уехал не простившись.

Кабы плакала Арина, кабы жаловалась да прокляла бы себя вместе со своим грешником, да рублей бы на божьи свечи не пожалела, молчала бы тогда старуха.

Арина же гордо живот носила, улыбалась.

Когда родилась Петровна, старуха кричала:

— В руки не возьму! Грех! Отсохнут руки-то!

— А чего? — будто и не понимая, спрашивала Арина, ласково подставляя большую налитую грудь к маленькому личику дочери. — Чего?

Человека родила. Рази грех — человека родить?

— Грех!

— Не-е... еще рожу... мальчонку рожу...

— От кого?

Вздыхала Арина и отвечала:

— А хоть от кого. Все одно мой будет. — И даже в голосе ее было это желание, будто и не мучилась муками, будто и не ведала, что грешит, а доброе дело делала.

Полюбила старуха внучку, но не рада была своей любви: с укором смотрели потемневшие лики святых, молчали, пугали. Ох, недовольны были!

Однако совсем было свыклась бабушка со своим горем, но опять Арина стала ночами уходить из дому, возвращалась под утро и — напевала весело.

Увела как-то дочь в огород, прижала к себе, выдохнула теплым голосом:

— Братик у тебя будет... хороший такой братик...

— Когда?

— К весне. В сельпо куплю.

Вот и ждала Устиновна мать, засыпала, но сквозь сон слышала песню и просыпалась.

Скрипела дверь.

— Бог-от все видит! — кричала старуха.

— Нету для меня бога, — радостно отзывалась мать, — нету. А если есть, плевала я на него. Живая я. На — пощупай, какая.

— Тьфу!

Арина громко и хорошо смеялась, говорила напевно:

— От моих грехов люди рождаются. Рази плохо это? Спроси-ка у них. — Она показывала на иконы и снова смеялась.

— Из дому уйду, — старуха стучала костлявыми пятками по полу, — проклянущу...

... Арина опрокидывается на постель. Устинова шепчет:

— А почему в сельпе братика хорошего родить будешь? Боишься здесь?

— Не боюсь. Могу и здесь. Спи, Петровна.

— Умру вот, — бормочет старуха, — в сраме умру...

— Все помрем, — сонно отвечает Арина, — а они жить останутся... Спи, спи, Петровна.

И Петровна крепко и сладко засыпает, положив голову на большое мягкое плечо матери.

1958 г.

СОПЕРНИЦЫ

Шурка оделась быстро. Вот только что она металась по комнате непричесанная, в коротком халатике на одной пуговице, и вдруг Настя увидела, что подруга уже в платье, в резиновых ботиках, а розовые руки заканчивают укладывать прическу из густых неопределенного цвета волос.

Она стоит перед зеркалом, невысокая, круглая, горячая, дышит громко. Губы у нее пухлые, крупные; вздернутый широкий нос придает лицу глуповатое выражение, которое усиливается еще и тем, что Шурка нещадно красит брови — получаются подковообразные линии одинаковой толщины с обоих концов. Красить губы Шурка не решает, хотя несколько раз берется за тюбик помады и, вздохнув, откладывает его.

— Ох, и здоровая я, — жалобно говорит она и с ненавистью, с брезгливостью даже взглядывает на свою грудь. — Кому ничего не досталось, а мне вот отвалил господи, хоть на троих дели... И тут! И тут! И там! — она сильно хлопает себя по телу. — И ведь ем-то не больше других... Ну ладно, ладно, — угрожающе продолжает она и, налив в ладонь одеколону, снова хлопает себя, но уже бережно.

Комната наполняется приторным запахом сирени.

Настя молчит. Она старается не обращать на подругу внимания и шепчет химические формулы.

А Шурка втирает ваткой пудру в наливные красные щеки и говорит, говорит:

— Сколько я обид из-за этого стерпела! И как только не обзывают! Булка, батон, тумбочка, — деловито перечисляет она, — бочка, дыня, арбуз, пищеблок... За что страдаем? — с пафосом спрашивает она и глубокомысленно отвечает: — Всё за то же.

Она одевается в мохнатую полудошку и становится похожей на медвежонка.

Шляпка у нее с пером. Оно опускается и закрывает Шурке левый глаз. Она воюет с пером, тяжело отдуваясь, и наконец заправляет его под шляпку, победоносно взглядывает на подругу.

— Красоты у тебя... — насмешливо произносит Настя.

— Килограмм сто, — серьезно добавляет Шурка. — Сказывают, если на голых досках спать, похудеешь в один момент. Так я что, дура? Перину в прошлом году купила, а теперь...

— Иди, иди, — просит Настя.

— Лечу! — Шурка попеременно придает лицу то гордое, то лукавое, то презрительное выражение, поворачивается к выходу, и конец пера снова выскакивает из-под шляпки.

— Оборви ты его, — советуется Настя.

— За него деньги плачены, — бормочет Шур-

ка. — Без перышков все носят. А с перышком у меня да у Зинки из шестой столовой. — Она укрепляет перо прежним способом и ударом колена открывает дверь.

Оставшись одна, Настя откладывает учебник и вытягивает длинные стройные ноги, положив их на спинку кровати.

Вечерами Насте всегда грустно немного, но грусть эта светла и даже приятна. Она приносит с собой такие мечты и желания, о которых Настя никому не рассказывает. Легко быть на людях холодной и гордой, а вот когда одна, хочется, чтобы приласкали по-настоящему, руками.

Потом Настя подходит к зеркалу и встает на то самое место, где недавно стояла Шурка, разглядывает себя. Она высока. Тонка. Серые, с зеленоватыми искорками глаза смотрят грустно.

Иногда Настя кажется себе красивой, но уверяет Шурку, что главное в девушке душа, характер.

— Блажь! — кричит в ответ Шурка. — У меня мать вроде профессора была, все понимала, добрая была — дальше некуда, а толку? Муж попался — не приведи господь. А Зинка из шестой столовой? Ворует — раз, дура набитая — два, сплетница — три... — и Шурка один за другим загибает все десять пальцев. — Так ей в один день трое предложение сделали. Потому что у нее — фигура! А у меня?! — и она так бьет себя кулаком в грудь, что кулак отскакивает. — У меня душа, знаешь, какая! А толку?

Насте и смешно, и горьковато слышать это. — Ты на танцы ходи, — страстно нашептывает Шурка, — тары-бары разные, то да се... Книжки тут не помогут. В вечерней школе этому не научат.

Каждый раз подобные разговоры заканчиваются тем, что Настя раскрывает учебник, а Шурка топает в клуб.

Вот и сегодня Настя зубрит формулы.

Над ее кроватью висит на голой стене расписание уроков. Постель плоская — мочальный матрац, подушка маленькая — казенная, одеяло — тонкое, серое.

Над Шуркиной кроватью — глаза разбегаются, сколько всякой всячины прибито, приклеено, навешано. Тут и киноартисты, и цветочки, и птицы-звери, а в самом центре обнаженная красавица из старинного журнала, которую Шурка сама раскрасила сообразно своим представлениям о женской красоте. Брови у красавицы черные и широкие, губы красные и толстые, коричневые глаза вылезли из орбит. На кровати пышная перина, покрытая толстым одеялом с узором из разноцветных треугольников, шесть подушек — целая пирамида.

Комсорг буровой конторы Федя Локтев, близорукий, застенчивый паренек, в которого Шурка тайно влюблена уже не первый год, пытался намекнуть ей, что от красавицы из старинного журнала пахнет буржуазным влиянием, и даже пригрозил конфисковать рисунок собственными руками.

Шурка заявила, что от красавицы пахнет всего-навсего мучным клейстером, буржуазия

тут ни при чем и что если у нее, у Шурки, красавицу отберут, то она себе такого красавца повесит, что он, Федя, ахнет.

Федя ахнул и больше на эту тему с Шуркой бесед не имел.

Думая о Феде, Настя повышает голос, чтобы сосредоточиться на формулах...

Шурка, конечно, вернется поздно, сразу разделенется и с куском хлеба и сахаром залезет под одеяло. Утром Настя увидит, что лицо подруги искажено страдальческой гримасой— спит на огрызке сахара или хлебной корке.

Чтобы отогнать мысли о Феде, Настя читает формулы нараспев. Говорят, что влюбляются чаще всего друг в друга противоположные натуры, и, если верить этому, Шурка не зря во сне стонет: «Феденька-а...» Правда, Федя Федей, а на танцы она бегаёт и может на память перечислить— кто, когда и как на нее посмотрел, как держал во время танго (любимый Шуркин танец, она его марширует). А Настя любит вальс, танцует, полузакрыв глаза, и только с Федей.

А вдруг Шурка права? Работает себе кассиршей в столовой, высунув от усилий язык, пишет чеки, ругается, хохочет, с работы приходит веселая и — на танцы.

Настя работает лебедчицей, весь день на жаре, или на морозе, или под дождем, к вечеру еле ноги переставляет и вместо танцев — уроки.

Под окном яростно заскрипел снег, хлопнула дверь, и удивленная Настя увидела, что глаза Шурки полны слез.

Она швыряет шляпку и полудошку на кровать, срывает с ног ботинки и туфли и, задрав платье выше черных трусов, расстегивает резинки, стягивает чулки.

— Порвешь, — испуганно говорит Настя.

— И порву! — всхлипывает Шурка, растирая руками багровые от мороза ноги. — Наплевала я на них девяносто шесть раз! — Она одергивает платье и спокойно произносит: — В общем, было дело под Полтавой. Организуй-ка мне кипяточку душу согреть... Подходит он это ко мне, очки наставил и ка-ак бухнет: «Вечно ты по танцулькам!» А он, видите ли, в читальный зал пришел. И куклой еще меня обозвал. Сидишь, говорит, в своей кассе без стыда, без совести. На тебе, на мне то есть, — уточняет Шурка, — бурильные трубы возить можно, а ты стул давишь... В очках, а души моей не понимает. Ему, помяни мое слово, фигура нужна! Хотела я ему про любовь свою сказать, да... Я по дороге так решила: тоже читать буду. Порошков каких-нибудь наглотаюсь, чтоб ко сну не тянуло, — и будь здоров! Ты мне подбери что-нибудь веселое.

Забравшись под одеяло, Шурка принимает озабоченный вид и раскрывает книгу.

Настя, радостно улыбаясь, ласково шепчет формулы и вздрагивает от стука упавшей книги.

Во сне Шурка громко и обиженно посапывает. Настя целует ее в щеку.

ВРАГ ДУШИ МОЕЙ

Бывает, что в саду отцветут все вовремя распустившиеся цветы и останется один, с приоткрывшимся бутоном. А когда все остальные цветы будут сорваны, стебли их поникнут под едва уловимым дыханием осени, этот цветок вдруг вспыхнет.

Почти в тридцать лет Инза казалась восемнадцатилетней. Она знала, что очень красива, но в черных глазах ее радость была перемешана с иронией.

Я приготовился испытать все муки и блаженства безответной любви. Инза была для меня совершенством и не внушала ничего, кроме восторга, без малейшего признака чувственности.

Вся она была необычна, как ее имя. Умная, отличная журналистка, Инза стала для нас чем-то вроде источника духовного света. К ней в кабинет заходили не только по редакционным делам, но и просто так — посмотреть на нее, набраться, как мы говорили, вдохновения.

Многим из нас достаточно было только взглянуть на Инзу, как казалось: работается лучше и легче. Каждый думал: «Совсем не важно, что она меня не любит, важно, что она — вот такая — есть». Мы поклонялись ей, не ревнуя

друг к другу, счастливые тем, что дышим с ней одним воздухом, видим ее, слышим.

Она казалась созданной для большой, необыкновенной любви.

Не ведаю, за какие несуществующие достоинства Инза приблизила меня к себе чуть побольше, чем остальных. Я не обрадовался, отлично понимая, что, так сказать, при ближайшем рассмотрении Инза легко обнаружит заурядность моей натуры.

В редакции я занимал самое скромное положение, потому что хорошо писать не научился, но уже начинал понимать, что пишу плохо.

А рядом с Инзой стыдно было быть незаметным, хотелось стать настоящим человеком.

Чувство мое было бескорыстно: появись рядом с ней кто-то, которого бы она полюбила, я бы склонился, наверное, и перед ним.

Была вечеринка, веселая, шумная, какая-то интимно-настороженная. Мы все, холостые, не знали, что делать с переполнявшим нас желанием любить.

Я грустил, потому что именно в этот вечер понял: от Инзы мне не уйти, что-то у меня с ней произойдет.

Инза была одета в черное платье с узким длинным вырезом на груди, открывавшим кусочки смуглой золотистой кожи. Черные волосы крупными локонами небрежно падали на плечи — узкие покатые плечи.

Как бывает в подобных случаях, я выпренне и витиевато думал, что вон, мол, она, моя любовь, единственная во всей вселенной жен-

щина, кроме которой никто не может сделать меня счастливым. Мне хотелось понять Инзу, заглянуть в ее таинственную и прекрасную душу.

Да, забыл сказать, что один человек в редакции презирал Инзу. Это машинистка Раечка, пухленькое, розовощекое созданище, милое и доброе. Она училась в вечерней школе, и мы всей редакцией помогали ей готовить уроки. Когда мы заметили ее презрительное отношение к Инзе, то, не сговариваясь, перешли на официальный тон.

И вот на вечеринке кто-то начал рассуждать о любви. Инза слушала рассеянно, потом насмешливо скривила тонкие губы и сказала:

— Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.

Никто не мог понять, шутка это или что-то другое. Инза поднялась, и голос ее зазвенел, будто она звала:

— Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его... Раечка рассмеялась.

Смех прозвучал резко, вызывающе. Все молча смотрели на Инзу, ожидая, что она сделает.

А она сказала:

— Люди придумали много красивых слов, чтобы прикрыть ими грязь.

— Ты врешь, — тихо проговорила Раечка, вся порозовев — даже обнаженные по локоть полные ее руки порозовели. — Просто ты сама такая.

Но Инза даже и головы не повернула в ее сторону.

— Ты просто сама такая, — громко повторила Раечка, — строишь из себя...

Это было святотатством, и я оборвал:

— Знаешь...

— Знаю, — спокойно ответила Раечка, — больше всех вас знаю, хоть вы и с высшими образованиями.

Раечка ушла.

Нам было неудобно перед Инзой, а она — будто ничего и не случилось — сидела и задумчиво рассуждала о несовершенстве жизни, людской черствости, неблагодарности и несправедливости, о том, что так называемой любви не существует, люди заменили ее определенными физиологическими отношениями, что верить никому нельзя...

До меня плохо доходил смысл ее слов, я слушал ее голос, смотрел...

В тот вечер я впервые пошел ее провожать. Долго мы молчали, прежде чем я набрался смелости пробормотать, что жизнь может быть какой угодно, но каждый человек может быть и честным, и справедливым, и...

— Чудак, — ответила Инза снисходительно и ласково. — Жизнь совсем не такая, какой она тебе кажется... Поцелуй меня.

— Зачем? — испугался я.

— Просто так.

— Но...

— Ах, эти вечные «но»! На каждом шагу! Мне душно от них! Противно!.. Вот ты можешь полюбить такое ничтожество, как я?

Пока я делал попытки горячо опровергнуть ее мнение о себе самой, Инза продолжала:

— Предположим, полюбишь. А я брошу тебя. Или ты бросишь меня.

— Ни за что!

— Чудачок... — Она поцеловала меня — прикоснулась к моей щеке холодными губами, а я бормотал, ничего не соображая:

— Нет, нет, ни за что... никогда...

В то время я был автором нескольких статей на моральные темы, статей, в которых искренне и бойко поучал, призывал, клеймил позором, уверенный, что мораль нарушают только законченные мерзавцы. Все мне представлялось предельно простым.

Но — короче говоря — через несколько дней мы стали жить вместе, скрывая это даже от друзей. На мои робкие предложения жить по-человечески Инза отвечала:

— Как только я стану твоей женой, сразу надоем. Закон жизни.

Все, что она говорила, казалось мне тогда убедительным, и жизнь словно повернулась ко мне другой стороной. Чтобы оправдать свои грехи, я вслед за Инзой повторял, что в этом виноваты не мы, а жизнь. Думать так было удобно.

— Ты был совсем другим, — сказала мне однажды Раечка.

Да я и сам стал замечать это. Заметил я и то, что чувство мое к Инзе отдает чем-то болезненным. Нет, не о такой любви я мечтал...

Но это было еще полбеды. Вместо того чтобы

в муках писать острые статьи, я твердил, что в «этой жизни» вперед лезут бездарности, приспособленцы и закрывают нам, честным талантам, дорогу.

С болью я обнаружил, что Инза не умнее многих, а просто опытнее.

Как-то вечером я сидел в кабинете один, ждал, когда перепечатают рукопись. Вошла Раечка.

— Ты теперь неразборчиво пишешь, — тихо сказала она, протягивая рукопись; улыбнулась ласково и ободряюще, как улыбаются больному, когда ничем не могут помочь.

Я улыбнулся в ответ, и на душе у меня впервые за последние месяцы стало легко. Но в кабинете появилась Инза, и Раечка ушла. Инза сказала:

— Толстячка безумно влюблена в тебя. Вот когда я тебе надоем...

— Хватит, — оборвал я, — не нам с тобой о ней судить.

— О... — удивленно и обрадованно прошептала Инза. — Ты уже кричишь на меня. Все идет своим чередом. Прекрасно.

— Такова жизнь, — насмешливо ответил я.

— Да, — серьезно согласилась Инза.

И я бы никогда не разлюбил ее, если бы... И простил бы ей все. Ведь любить не обязательно с закрытыми глазами. Я видел в Инзе все ее грехи, но она была первой моей женщиной, а для меня это значило тогда — и последней, вернее, единственной.

Не знаю, любила ли она меня. Скорей всего да. Временами, правда, очень редко Инза

вдруг как бы старела, словно начинала понимать, что она со мной сделала, и становилась виноватой, доброй, мягкой.

— Не сердись на меня, — просила она, — я до сих пор верю, что мы будем счастливы. Только ты не бросай меня. Без тебя я совсем...

— Объясни мне одно, — просил я, — почему ты не хочешь жить по-человечески? Давай зарегистрируемся... мне просто уже противно прятаться. Ну, или обманем всех еще раз, скажем, что мы муж и жена.

— О, ты не знаешь людей, — отвечала Инза. — На нас выльют столько грязи...

— Но пока никто на нас не лил грязи, хотя все догадываются.

— Просто ждут случая.

А я почти физически ощущал, сколько во мне копилось злости, подозрительности, раздражения. Если заведующий отделом возвращал мне рукопись, я думал не о ней, а о нем, был уверен, что ко мне несправедливы и так далее. К тому же меня стала навещать пустота. Первое ощущение ее меня испугало. Случилось это как-то вечером, когда я выходил из типографии с дежурства. Помню, вышел на улицу и остановился. Я понял, что мне некуда идти. Вернее, незачем. К Инзе?

А если у нее плохое настроение?

Или болит голова?

Или — еще десятки «или»?

Словом, пусто.

Я пошел в редакцию. Ведь была суббота, а в субботу наши ребята, дождавшись, когда редактор уйдет, закрывались в дальней комнате

и потихонечку, за разговорами пили вино. И мне так захотелось побыть среди них, забыть обо всем...

А оказалось, что я помешал им. Сидели молча, перебрасываясь незначительными фразами.

— Я пойду, — сказал я.

Подождал, никто не отозвался, и я ушел.

Мне было очень тяжело в тот вечер. Я бродил по улицам и с удивлением вспоминал все происшедшее со мной.

И только через несколько часов вспомнил о Инзе и бегом направился к ней. Дурак! Как я мог заниматься всякими придуманными мною переживаниями?! Я — счастливый человек!

Инза, видимо, только и ждала моего прихода, чтобы сорвать на мне раздражение.

— Где ты пропадал? — резко спросила она.

— Дежурил...

— Дежурил! Обманывай кого-нибудь...

— Да что с тобой?

— Что со мной? — воскликнула она. — Доигрались!.. Я беременна.

— Ну и что?

— Чудак... Пора бы тебе понимать, что это такое.

Пожалуй, ни разу в жизни меня так не обижали. Я расплакался при ней, отвернувшись к окну, плакал долго и, наверное, очень смешно. Ведь я мог стать отцом, а оказался мальчишкой, у которого отяжелели уши, когда любимая, самая прекрасная во всей вселенной женщина рассказывала ему о том, какие медикаменты надо достать...

— Зря ты сердишься на меня, — говорила Инза, немного успокоившись. — Я разнервничалась... Все обойдется. Будь мужчиной. Всю ночь я просидел у окна. Сначала выкурил все папиросы, потом все окурки, потом из окурков крутил сигарки.

Инза проснулась рано.

— Не дуйся... — начала она.

— Бог с тобой, — ответил я. — За эту ночь я, верно, хоть немного, да повзрослел.

— Вот и хорошо...

— Ты сделала худшее, — сказал я, — что может сделать женщина. И я расскажу об этом всем.

Пока я собирал свои вещи и книги, Инза что-то кричала, рыдала, плакала.

В этот же день я получил расчет, еще не решив, куда я уеду. Мы с ребятами сидели в дальней комнате и пили прощальную бутылку.

Зашла Раечка, очень спокойно сказала, пожав мне руку:

— Пиши разборчивей. Раньше у тебя был хороший почерк.

1958 г.

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕ

Тогда, сразу после войны, трудно было еще жить — продукты выдавались по карточкам.

Борька Гурфинкель, мой лучший друг, учился в одном из ленинградских институтов, и его мать Ксения Антоновна жила совсем впроголодь, чтобы к приезду сына на каникулы иметь запас еды. Борька, что называется, отъедался и уезжал.

Мы оставались на перроне, я ждал, пока выплачется Ксения Антоновна. Потом мы пешком тащились через весь город (ночью трамваи не ходили). Дома, засыпая, я слышал все те же приглушенные рыдания.

Вот так было, а Борька считал свою мать человеком с будто бы железными нервами. Он-то ни разу не видел ее плачущей.

Однажды мы вернулись с вокзала под утро и настолько умаялись, что долго сидели молча, вытянув ноги. Хотелось есть, но не было ни крошки хлеба.

— По чашке кофе еще осталось, — сказала Ксения Антоновна. — Сразу будет легче.

Кофе я выпил залпом и лишь тогда заметил, что на столе нет второй чашки. Ксения Антоновна виновато улыбнулась и развела руками. Ложиться спать уже не было смысла, и мы раз-

говаривали о Борьке. Странно: когда он был рядом, Ксения Антоновна боготворила его, а когда он уезжал, повторяла:

— Не то... не то...

Борька тогда был влюблен и страдал, потому что чувство его осталось без ответа. Точно такая же история происходила со мной, но я больше переживал за друга: Борькина страсть казалась мне выше и сильнее.

Поэтому я защищал Борьку, а Ксения Антоновна отрицательно качала седой головой.

Она почти всегда была в стареньком темно-коричневом платье с глухим воротничком, с кармашками на груди.

Глаза у нее отечные, но лицо гладкое, почти без морщинок.

Такой она и осталась, когда сын уже стал Борисом Абрамовичем, начальником технического бюро большого машиностроительного завода.

Мы гордились Борькой.

У меня была знакомая студентка медицинского института Сонечка, высокая смуглая южанка. Красивая и холодная, к представителям противоположного пола она относилась абсолютно равнодушно. Это я испытал на себе и, еще не успев влюбиться, понял, что Сонечке просто надоело с утра до вечера ощущать восторженные взгляды. Вокруг нее всегда крутилось не меньше десятка молодцов один лучше другого, и никто не добился успеха. Я был при ней чем-то вроде пугала, защиты от ухаживаний. Сначала мне это было даже приятно.

Сонечка могла часами молчать: поставит перед собой зеркало, смотрит в него и молчит. Но она была так красива, что и я мог часами молчать с ней рядом.

Держалась она удивительно вяло, словно только что проснулась, никого и ничего не видела вокруг.

Скоро мне надоело быть при ней, тем более, что я познакомил Сонечку с Борисом, и он не скрывал радости, увидя, что я собираюсь домой и оставляю их молчать вдвоем.

Навещая Ксению Антоновну, я засиживался допоздна, однако Борис приходил еще позднее. Мне не терпелось узнать, что у них там происходит, но Ксения Антоновна была осведомлена не больше меня.

В субботу я засиделся дольше обычного. Пришел Борис, будто не заметил нас, остановился перед зеркалом, расчесал свои белокурые волосы, сказал мечтательно, удовлетворенно:

— Вот...

Лицо Ксении Антоновны исказилось страдальческой гримасой — поняла, что случилось, но спросила деланно веселым тоном:

— Зарплату получил?

— Зарплаты, мамочка, почти нет, — со смехом сказал Борис. — Купил Сонечке часы. Как-нибудь выкрутимся. Надеюсь, ты...

— Надо полагать, она довольна?

— Вы не представляете! Она... — он осторожно прикоснулся пальцами к своей щеке. — Она поцеловала меня.

В общем, пахло свадьбой.

А тут пришла весть, что Бориса направляют на постоянную работу в МТС.

— Как же Сонечка? — спросил я, потому что этот вопрос был в глазах Ксении Антоновны.

— Поеду, устроюсь, — хмуро ответил Борис, — тогда и сделаю предложение.

Мы с Ксенией Антоновной в один голос заявили, что если на то пошло, то предложение надо делать сейчас (я был уверен, что Сонечка в колхоз не поедет).

Но Борис предложил Сонечке руку и сердце в тот день, когда стало точно известно, что он остается на заводе.

И снова в комнате Ксении Антоновны все стало примерно так, как несколько лет назад: пустота и ожидание. Длинными вечерами мы сидели и молчали, а взглянув друг на друга, произносили:

— Не то...

Много слез утекло с тех пор.

Иногда ненадолго забегал Борис, шумно рассказывал о своих производственных успехах, перечислял подарки, которые сделал жене. Еще реже приходила Сонечка, красивая, конечно, но уже не та, что в студенческие годы.

Борис исхудал — результат так называемых приработок, а проще говоря, шабашек. Он выступал с лекциями, преподавал в вечернем институте, руководил дипломным проектированием и практикой студентов, писал статьи и брошюры — это помимо основной работы на заводе.

Стороной я узнал, что Сонечка бросила учебу.

Долго я не решался сообщить об этом Ксении Антоновне, а когда собрался, то застал ее с Борисом в разгар ссоры.

— Почему она Воронова, а не Гурфинкель? — спрашивала Ксения Антоновна. — Ведь она вышла замуж за Гурфинкеля!

— Это ее право, — раздраженно отвечал Борис, — законное право.

— Я была в свое время Огородниковой, вышла замуж за твоего отца и взяла его фамилию. Мать прокляла меня. Еще отец заметил у тебя это... понимаешь?

Затем пришло радостное известие — родилась Машенька. Ксения Антоновна спрашивала меня:

— А у нее какая будет фамилия?

Сына об этом она не спрашивала.

По-прежнему при нем она не плакала.

Однажды у меня кончился кофе, денег не было, и я отправился к ней.

— У меня ни зернышка, — сказала Ксения Антоновна, — завтра зарплата.

— Эх вы, кофейные души! — воскликнул Борис. — У меня в сумке на заварку наберется. Вчера из кулька высыпалось.

Ксения Антоновна сидела сумрачная, неподвижная, лишь изредка хваталась за горло — поправляла воротничок темно-коричневого платья.

Я понял: опять здесь ссора.

Каждому досталось по чашке жидкого кофе. Борис выпил свою порцию залпом и прохаживался по комнате. Я раздумывал: то ли он ищет повода уйти, то ли ждет, когда я уйду.

Молчали.

Проходя мимо буфета, Борис локтем задел сумку. Она наклонилась, и на пол застучали кофейные зерна, полились ручейком.

Борис захохотал, стал собирать зерна, объясняя, что кофе он купил соседке, а она такой человек, что не поленится проверить вес.

— Конечно, конечно, — бормотала Ксения Антоновна, — собери все до зернышка... чтобы не было лишних разговоров. Поцелуй внучку, она ни в чем не виновата...

И лишь когда хлопнула дверь, Ксения Антоновна расплакалась.

Кофе я допил уже холодным.

1957 г.

Брился Коровин остервенело, кричал от боли, матерился вполголоса, но твердая рыжая щетина плохо поддавалась бритве. Он тряс большой головой на тонкой шее, из которой остро торчал кадык, тер подбородок широкими мозолистыми ладонями.

— Рубаху!

Манефа, его жена, в широкой юбке, скрывавшей формы сухого тела, подала косоворотку. Натянув ее, Коровин взглянул в зеркало. В тяжелой резной раме, оно висело с наклоном от стены, и низенькая кривоногая фигура Коровина выглядела в нем еще ниже, еще кривонее.

— Налей-ка, — бросил он, и когда жена подала стакан, взял его не глядя, сказал себе: — Ну, будем здоровы! — процедил сквозь зубы мутную брагу и вытер рот рукавом.

В кухне Коровин надел старый полушубок, порванный во многих местах, с вылезшими клочками шерсти, ноги всунул в залатанные, подшитые брезентом валенки.

— Петр Егорыч, — жалобно позвала жена, — пойду, а?

— Проверь сундук, — сказал Коровин, подпоясываясь веревкой. — Сон приснился мне,

будто моль валенки жрет. Сыпни нафталину.

— Все бабы идут, все, а я... — и Манефа умолкла, увидев, как сжались бескровные губы мужа.

Гулко хлопнула, как крышка у погреба, дверь. Манефа выпрямилась, ту же затынула узел платка, закрывавшего лоб по самые брови, и подошла к огромному кованому сундуку.

Гитарным перебором прозвенел замок, с визгом скрипнули ржавые шарниры, и на женщину дохнуло плотным, слежавшимся запахом.

— Добра-то, добра-то, — удивленно прошептала Манефа, будто впервые видя содержимое сундука, — носить не переносить...

Медленно, будто машинально доставала она и раскладывала на полу вещи: пальто, полупальто, плащи, валенки, костюмы, сапоги, сапожки, платья — все новое, ненадеванное.

Вот уж и ступить некуда. Манефа, вытянувшись, замерев от страха и удовольствия, ходит прямо по добру, из угла в угол, из угла в угол. Ей становится не то жарко, не то душно. Она срывает с головы платок. Рассыпаются густые волосы.

Резко остановившись, она берет шубу, встряхивает — и блески нафталина, подобно снегу, усыпают лежащую на полу одежду. С брезгливой усмешкой кладет Манефа шубу в сундук и вдруг, сразу обессилев, опускается на колени, садится.

Открыть бы ясным утром сундук и увидеть, что все добро сгнило! Или выбросить его в

осеннюю грязь и трактором несколько раз переехать! Чтоб пустым этот сундук был, как тогда, когда Коровин привел ее к себе в избу, молодую, сначала пугливую от мужской близости. Стыдливый тогда и он был, краснел, помнится, если жена звала средь бела дня, приманивала, сама удивляясь своей смелости; ласковый, помнится, был...

А теперь сидит она на добре, вспоминает, как у мужа во сне губы шевелятся — считает, должно быть, пересчитывает. Уж лучше бы зазнобу, что ли, приобрел да одаривал, а то все в сундук, в сундук, в сундук!

Перед людьми бедным прикидывается, а дома от нафталина кашляет. Давно уж без радостей живет, завистью одной кормится. Только и заботы: купить бы чего-нибудь и в сундук, как в нору.

И здоровье все в сундук ушло, и молодость туда же. У людей праздники бывают, а у нее с Коровиным... еле на ногах после гостей стоит, а не ляжет — идет чего-нибудь по хозяйству делать. Летом если часа по три на сон остается, и то хорошо. Сколько уж раз хотели Коровина из колхоза вытурить... Старший сын на войне погиб, а средний и младший лет десять родителям и носа не кажут — не любят отца, чуть не заездил он их, пока дома жили...

Кто-то постучал в окно. Манефа тяжело поднялась, прислушалась. Не велит ведь Коровин никому добро показывать!

Манефа закрыла дверь в комнату и впустила в кухню Матвеича, сторожа из правления.

Матвейч повел длинным носом, унюхал запах, гоготнул:

— Богато пахиват!

— Чего надо?

Старик становится серьезным, вытягивает руки по швам, докладывает:

— Велено звать тебя на собрание. Секретарь райкома приедет. Разных начальников три машины. Велено всех колхозников собрать.

— Так ведь я... — бормочет Манефа. — Так ведь мне...

— Знаем, знаем, — сочувственно вздыхает Матвейч, — не дает тебе твой мужик активничать.

У него редкая белесая бороденка и детские голубые глаза. Опершись плечом о косяк, он свертывает сигарку, говорит нарочито небрежным тоном:

— И опять же кинокартина новая. Это, значит, после собрания. Культобслуживание называется... Ну, если...

— Ты сядь, — предлагает Манефа, угрюмо глядя куда-то мимо. — Бражки налью.

— Не откажемся, не откажемся. Бражка у тебя завсегда того... с характером.

Прежде чем выпить, Матвейч закатывает глаза к небу, придав лицу смиренное выражение, тянет бражку, уже закрыв глаза, облизывается и говорит ласково:

— Греет... Так ты чего? Сиди. Чего ты на собрании не видала? До утра, полагаю, беседовать будут. Да и не след своего мужика забирать. Не хочет, ну и не надо.

Манефа наливает ему вторую кружку. Выпив,

Матвейч хмурится и неуверенно рассуждает:

— И опять, какое у него законное право нарушать конституцию? Курица, она, конечно, не птица, но баба — это женщина. А женщина — это человек. Член колхоза... — снова унюхав запах, он косит глазами на дверь в комнату.

— Посмотри, — с хмурой решительностью предлагает Манефа.

Матвейч срывается с места.

— Сельпо! — восторженно кричит он из комнаты. — Промтовару-то!

Он охает, крикает, щелкает языком и, выйдя в кухню, благоговейно шепчет:

— Понятно... ясно теперь, почему он дверь здесь навесил... а я-то думал... Добришко... Хорошее добришко... А помрете? Куды все денется? А?

— Пей.

В два глотка осушив кружку, старик произносит:

— Добрецо; оно человеку силу дает. Личная собственность граждан охраняется законом... Но я тебя спрашиваю! — кричит он. — А помрете? Тогда что? — Он сам наливает в кружку браги, пьет. — Крепкий у тебя мужичишко!

— А я ведь не совсем старуха еще, — задумчиво говорит Манефа.

— Вот и скажи на собрании, — бормочет Матвейч, — а что? Тем более, не старое время... Налей-ко мне этого... Я вопрос на правлении поставлю! — кричит он. — В Верховный Совет опишу! По всем правилам.

Манефа ставит бутылку в угол, и Матвейч, про-

водив ее обиженным взглядом, продолжает:

— А может, так и надо? Курицы, они вредные. Шуму от них много, а план яйцепоставок... не всегда!.. Я пошел! — он встает, держась за стену. — Я сейчас свою старуху тоже выгоню! Чего она по собраниям шляется!

— Дожди меня, — решительно произносит Манефа, уходит в комнату, срывает с себя кофту, юбку, скидывает с ног валенки.

Матвейч шумит на кухне:

— Почему у меня добра нет? Потому что не я дома хозяин! А кто? Баба. А она, известное дело... — и оторопело замолкает, увидев Манефу.

Она в пальто с лисьим воротником, белом пуховом платке и хромовых сапожках. Фигура у нее тонкая, девичья.

— Не пуцу! — Матвейч встает в дверях. — Ты что?! Куды вырядилась?

Манефа выталкивает его в сени, гасит свет и хлопает дверью.

1958 г.

МАДОННА

Жила Анна во флигельке — остатке прежних деревянных построек — среди огромного двора, образованного тремя новыми высокими зданиями.

Мимо людей она проходила торопливо, опустив голову.

Однажды загляделся Егор на нее, и глаза до боли сузились, так пристально смотрел, каждую складочку на платье высмотрел. Он подмигнул, спросил:

— Может, выглянете во двор на минуточку? Народ тут вами интересуется.

Пожала Анна плечами, не остановилась, прошла. Тогда Егор и сказал негромко, на пробу:

— Ишь... мадонна какая!

Что такое мадонна, Егор толком не знал, но был уверен: слово это ругательное. Не матерщина, конечно, а что-то вроде чертовки, например, или ведьмы.

Куприяновна, высокая, жилистая старуха, проговорила:

— Такая уж не подпустит, не-ет, — и на Егора покосилась.

Он выплюнул папиросу, раздавил полуботинком, ответил:

— Знаем, встречали.

— Нет, нет, — повторила Куприяновна, — бывают такие.

Прозвище пристало к Анне накрепко, всем казалось, что подходящее слово выдумал Егор.

Среди молодых мужчин из новых домов он был не последним. Высокий, белокурый, глаза голубые — легко по земле ходил: погуливал, да не забывался, пил, да не напивался. Не одно и не два девичьих сердца разбил он, даже и женат был, говорят, но без отметки в паспорте.

Работал Егор слесарем-лекальщиком по седьмому разряду, понятия не имел, что такое тянуть рубли от получки до получки.

В комнате у него чисто и богато. Все здесь есть: и радиола, и диван, и ковер, и скатерть бархатная.

По вечерам иногда Егор концерты устраивал: выставит радиолу на подоконник, включит на полную мощность и давай пластинки крутить. Пусть люди слушают, не жалко!

А тут забыл о любимом развлечении, сидел, в пол смотрел.

— Нездоровится? — спросила мать. — Может, принести бутылочку?

Егор кивнул, но без охоты, просто так — чтоб не мешала думать.

Когда Наталья Власовна вернулась из магазина, сын сидел в той же позе. Стопку выпил будто воду, опять же без охоты или интереса. Потом достал пластинки, которые купил в прошлое воскресенье и еще не слушал.

Грустно и тонко пела мандолина. Тоскливо пела и нежно. Жаловалась, должно быть. И когда она была уже не в силах выразить печали, запел мужской голос:

— Ма-адонна...

Вздрогнул Егор, вытянул шею, но ни слова разобрать не мог: чужая была песня, не наша.

— И чего это ты купил? — спросила мать. — Мадонну какую-то. Уж не про флигельщицу ли?

— Налей-ка! — решительно сказал Егор, одним духом выпил стопку и — к дверям; быстро прошел через двор и постучал во флигелек. Лицо Егора стало растерянным, когда он увидел Анну.

— Можно? — спросил он, осторожно выговорив слово, будто оно было горячее.

— Что можно?

— Да так...

Одинакового с ним роста, широкая в плечах, Анна вблизи не такая красивая. Вон и морщинки у серых равнодушных глаз и складочки над бледными губами.

— Мадонной я вас... Обиделись?

Анна поправила вырез в халате, сказала:

— Мальчик вы еще. Глупенький. — И ушла.

Вернулся домой Егор, одну за другой две стопки выпил, проговорил задумчиво и удивленно:

— Нравится она мне.

— Господь с тобой! — мать даже руки раскинула в стороны, будто дорогу загораживая. — Стара ведь она, поллучше можешь найти.

— Действует она на меня. Понимаешь?

— Да как не понять... Женщина ведь она. В юбке. А ваш брат...

— А-а! — Егор в сердцах махнул рукой. — Женщина. Не в этом дело. Если бы насчет женщины, тут недолгий разговор. А она... — и вздохнул так тоскливо, что Наталья Власовна откапала себе валерьянки на три капли сверх нормы.

Только через неделю Егор появился вечером во дворе, сел на скамеечку против флигелька.

— Мадонна-то твоя... — начала Куприяновна, но Егор процедил сквозь зубы:

— Изыди...

— А ты послушай, послушай, — на ухо ему торопливо зашептала старуха. — Машинисткой она состоит и еще кое-чем занимается. И до того опозорилась, что в другое учреждение сбежала и жилплощадь переменила, в наши, значит, края перебралась.

Стемнело. Подошла Наталья Власовна, чуть не плачет:

— Сиднем сидишь, ровно больной. Погулял бы или что... Принести бутылочку?

— Не мешай, мать.

И так каждый вечер. Не на шутку встревожилась Наталья Власовна, рассказывала:

— Не спит. Папироски да спички перед собой на стул и дыми-ит. Где-то наутре только и вздремнет часок-другой. А то еще читает.

— Округтит она его! — со страхом отвечала Куприяновна. — Помяни мое слово, округтит! Люди мне сказывали, что непутевая она, ух какая непутевая!

Заводские девчата заметили, что Егора будто подменили. Раньше ни одной прохожу не давал, уж если не руками, так глазами обязательно ущипнет, а тут улыбается, и улыбка у него вроде бы виноватая.

Как-то вечером Егор зачитался, пришла Куприяновна и пробормотала испуганно:

— Мадонна тебя кличет!

Егор вскочил и бросился к выходу.

Вслед заплакала Наталья Власовна.

По лестнице Егор спускался медленно, соседа встретил — не поздоровался: не заметил.

Анна сидела на скамеечке, положив ногу на ногу, спросила:

— Что же дежурить сегодня не вышли? Привыкла я вас на этом месте каждый вечер видеть. Знаете, женщине всегда приятно, когда к ней хорошо относятся.

Насторожился Егор — по голосу учуял: другая Анна перед ним, не мадонна, о которой песня есть, а такая, каких он много встречал, какие в душе и следочка не оставляют. Но не поверил себе, как не верил Куприяновне; заговорил:

— Вот как охота после работы в чистое переодеться, так мне перед вами человеком быть охота... Встретил я вас и... вроде бы в темной комнате лампочку зажгли, сразу видно стало, что беспорядок в комнате-то... Смешно это, конечно...

— Почему смешно? — испуганно перебила Анна.

— Да потому... впустую я это говорю... Не верите ведь?

— Странно все это, — задумчиво ответила Анна.

— Мадонна, — с усмешкой продолжал Егор. — Ерунда получилась. Узнал я это слово. Богородица, значит. Или еще к женщинам так обращаются, которых очень уважают.

— Уважают? — переспросила Анна. — За что?

— Не знаю. Да и невелика важность, за что... Такая история... уважаю — и все тут.

Анна быстро поднялась.

— Да вы что... — Она руками закрыла вырез в халате, пробормотала и неуверенно, и радостно: — Холодно мне... спокойной вам ночи. И убежала.

Егор ушел за ворота и долго еще бродил по улицам.

Два дня спустя к флигельку подкатила полуприцепка. Мальчишки помогли грузчикам сложить в кузов вещи. Подойдя к кабине, Анна оглянулась и посмотрела вверх, туда, где на подоконнике стояла радиола.

Над крышами домов, не опускаясь к земле, плыл голос:

— Ма-адонна...

1958 г.

— Десять лет уплыло, как Даша померла. Хорошая баба была, а померла. Бросила, значит, меня одного. Скучища без нее, ровно и не к чему жить-то...

Поперек Камы шевелится лунная дорожка, и кажется, что светло именно от нее, а не от луны. Сюда, на высокий крутой берег, ползет прохлада, густая и влажная.

Старик негромким простуженным голосом говорит:

— Я без реки жить не могу. Трудно дышу без реки-то. Только на берегу и отхожу, вроде бы лекарство какое принимаю... Даша, еще когда живая была, окунем меня дразнила. Смолоду она красивая была, сильнющая. Купаться, помню, на косу поедем, разденется она у воды, а у меня от красоты ее ноги отнимаются. Хоть бы всю жизнь смотрел... Никифоров тут был один. Еще раньше меня к ней сватался. И всюю-то жизнь он про Дашу думал. Как на своем «Ретвизане» мимо идет, вот тут, так гудит. Приветы ей, значит, посылает.

Внизу на тропинке послышались голоса и смех. Старик замолчал. Цигарка вспыхивала ярким синеватым пламеньком. Голоса растаяли в темноте, старик продолжал неторопливо:

— Потом старость приковыляла. А мы еще лучше жили. Ночью если сон страшный увижу, рукой пошевелю — жена рядом, и успокоюся... Денег у нас сроду не было. На что они? Даша хорошая больно была. Только Никифоров этот среди ночи иной раз как вскрикнет... А гудок у «Ретвизана» жалобный был, будто человеческий... Во-о-от... Десять лет я без Даши вытерпел, с каждым годом все больше об ней думаю... Померла, а я больной сделался. Каждая косточка у меня болит, каждый позвонок. Весь я больной сверху донизу. Раньше, бывало, занеможу, Даша меня в баньку да как всего веничком исхлещет — и нету хворости...

— А где сейчас Никифоров? — спрашиваю я, но старик, видимо, не слышит и продолжает: — Годов восемь назад сообразил я жениться. Ага. С горя, значит. Ведь встанешь утром — один, днем — обратно один, ночью — тоже... И нашел я себе тут на рейде молодую толстую, веселую. Иду как-то вот здесь по берегу, а мимо «Ретвизан» плот тащит и... ага, гудит. Стыд меня заел... вот как голодный косточку обглаживает, так меня стыд... На пенсию Никифоров ушел и тоже помер. Недавно. Теперь сын у него по Каме плавает... Сегодня капитаном в первый рейс идет. На «Ретвизане», на новом...

Кругом тишина. Но чем больше я вслушиваюсь, тем сильнее убеждаюсь в ее обманчивости. Со всех сторон доносятся звуки и шорохи, и даже сама река не безмолвна, она словно дышит.

Старик молчит, и чтобы продолжать разговор, я спрашиваю:

— А как здоровье у вас? Сердце?

— А ну его, сердце-то. Дурака валяет. То скачет, то останавливается. К врачам меня направляли, анализы со мной делали. Стыдно сказать, чего я только в больницу не носил, чепуху разную в баночках да бутылочках... Тьфу! Лекарства потом всякие пил. На что?

— Детей у вас не было?

— Трех войне скормили.

Через лунную дорожку прошел катерок, и часть ее некоторое время тянулась за ним.

— Шу-умная река стала, — говорит старик. — Ране, бывало, в дальние-то годы, в день один-два парохода мимо прошлепает, а ныне... и теплоходы тебе, и паротеплоходы, и вообще всякие... Многие ночи у меня без сна. На берегу сижу. А дома если, от каждого гудочка-свисточка просыпаюсь. Все мне охота «Ретвизана» послушать... А Никифоров-то... он тоже плотоводом был... Считай, полжизни у меня под ногами палуба, и на земле-то я вроде бы в гостях...

Видно, что от реки начинает отделяться туман. Тает луна. Исчезает дорожка. Мы долго сидим молча. Я не жалею, что опоздал на трамвайчик и вынужден коротать ночь на берегу.

Река дымится.

— Вот так, значит, — задумчиво произносит старик, — тяжело на реке работать, тревожно... — Он снимает выгоревшую капитанскую фуражку, рукавом проводит по лысине. — Не

идет что-то Никифоровский сынок... Нет, вон показался.

Старик резко поднимается, суетливо надевает фуражку.

Сверху — расплывчатым пятном с сигнальными огоньками — приближается буксир.

— «Ретвизан»... «Ретвизан»... — шепчет старик, будто зовет.

Все яснее проступают очертания широкободного судна. Оно дышит трудно, шумно.

Буксир напротив нас. Канат, соединяющий судно с длинным плотом, не виден, но даже отсюда, издали, я чувствую, что он есть. Мне кажется, что я слышу, как он звенит от напряжения.

Лицо у старика растерянное, он пытается улыбнуться, шарит сзади руками, как делают, когда нащупывают стул.

И когда старик опустился на скамейку, мощный крик гудка ворвался в утреннюю тишину и, радостный, густой, стал подниматься все выше и выше...

1958 г.



ТЕТРАДЬ
ЧЕТВЕРТАЯ



ГУЛ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОВ

Алле Поповой

I

Я любил ездить и не любил уезжать: ведь разлуки случаются все, а иным встречам и не случаться.

Она пришла и сказала:

— Он уезжает сегодня. Купил два билета. Велел мне приходить на вокзал... Уведи меня куда-нибудь и не отпускай. Ладно?

Ночь на маленькой, испетлявшейся среди лугов, лесов и полей речушке. Всплески рыбы, журчанье воды в гальке, пенье птиц да говор деревьев. Темнота и костер. Потом утро. Туман. Роса. Свежесть. Солнце.

Вот это я и предложил Валентине. Больше у меня ничего не было.

Она не слушала, но когда я замолчал, кивнула.

II

А он не любил ее и поэтому взял от нее лишь то, что можно взять от первой встречной.

Не подумайте, что он был красив или умен. Ничуть. Вообще неправда, будто бы женщины предпочитают красивых или умных. Нет.

Женщины любят мужчин.

Кожа у Кости была темно-смуглая, почти чер-

ная; волосы ежиком; весь он был сухой, пружинистый, будто готовый к прыжку. Он приносил с собой тысячи запахов — леса, лугов, горячей земли. И если у неба есть запах, этот парень приносил с собой и его.

Наверное, Валентина была для Кости просто частью природы, которой он привык наслаждаться и в которой чувствовал себя хозяином.

Помню, сидели мы у костра — несколько километров вниз по течению от железнодорожного моста. Когда по нему проходил поезд, звуки скользили по воде и прилетали к нам.

Услышав гул впервые, Костя вздрогнул, переждал, пока не стихло, и сказал:

— Люблю жить вот так! — он палкой разворошил костер, и пламя беспорядочными языками метнулось вверх, разлетелось в стороны; с треском посыпались искры; дым и огонь пахнули мне в лицо. Я испуганно отодвинулся, протирая слезящиеся глаза, а Костя повторял, веселый и взбудораженный: — Вот так! Вот так!.. Черт возьми, — после молчания проговорил он, — я до сих пор не знаю, глупа природа или умна? Люди глупы — это точно. Природа наделила нас массой желаний, навывдумывала массу соблазнов. А люди напридумывали множество ограничений для удовлетворения естественных потребностей. Естественных! — многозначительно повторил он. — Я завидую, к примеру, птицам.

— Но ведь и им приходится бежать от зимы, гибнуть в пути...

— Птиц тянет на юг, и они летят. Пусть даже

на верную смерть. А мы, люди, — с презрением продолжал Костя, — мы на каждом шагу ограничиваем себя, бежим от природы, давим в себе естественные желания. Того нельзя, этого нельзя... — он плюнул в костер.

Может, это была вспышка ревности — я почти закричал:

— А не завидуешь ли ты животным?

— Обязательно, — насмешливо ответил Костя, — а что? Вы, любители громких фраз и тощих истин, вы же ни черта не смыслите в живой жизни. Вы закрылись от природы стеной норм поведения и прочей белибердистикой. Вы признаете ее только потому, что не нюхали настоящей жизни. А у меня в жилах течет кровь! Понимаешь? Я живой. Почему же я должен сдерживать желания, если получил их от природы?

В это время по далекому мосту проходило, видимо, два встречных состава. Гул по реке прилетел к нам.

— Слышишь? — торжествующе спросил Костя. — Если я завтра захочу, то сяду в поезд и умчусь куда глаза глядят. И никто, и ничто не удержит меня. Ездить я не люблю, но люблю уезжать — расставаться...

— Можно разворошить палкой костер, — перебил я, чувствуя себя беспомощным, — на мгновение он будет прекрасен. А если надо сидеть у огня долгую холодную ночь? — Пламя жарко дышало мне в лицо, а за спиной были холод и темнота, страх и неожиданности. — А живешь ты на чужой счет, на чужой беде, — закончил я.

Костя вскочил. В плотной тишине голос его прозвучал подобно короткой пулеметной очереди:

— Ты вздыхаешь о ней, а я... — и он захохотал на весь лес.

Я бросился в темноту. Казалось: со всех сторон на меня идут поезда.

III

Валентина часто приходила ко мне помолчать. Потом я провожал ее, и у калитки она говорила:

— Спасибо.

Иногда, когда тоска бывала особенно сильной, Валентина протягивала мне руку.

Помню, пришла она вечером, сняла туфли, села на диванчик поджав ноги. Я спросил, впервые не сдержавшись:

— Неужели у тебя нет силы воли?

— Видимо, нет.

— Неужели ты не можешь взять себя в руки?

— Не могу.

— Неужели ты не понимаешь, что он...

— Понимаю.

— А знаешь, что в его жизни ты...

— Знаю.

— Тогда почему...

— Не знаю.

У нее был высокий гладкий лоб, почти прямые брови, большие серые глаза. Линии крупного рта четкие, будто обведенные тонким пером.

— Что же получается? — спросил я. — Выходит, что он прав?

Она пожала плечами.

— Ведь он обманул тебя и...

Валентина перебила возмущенно:

— Он меня не обманывал! — И тихо добавила: — Он мне ничего не обещал.

— Да, но одно то, что вы стали... близки, само собой предполагает...

— А-а! — она раздраженно махнула рукой. — Все наши взгляды на жизнь не от жизненного опыта, а от рассуждений... Но ничего страшного не произошло. Просто я получила хороший урок.

Когда стемнело, Валентина встала. Я проводил ее до калитки и услышал:

— Спасибо, дружище.

Я почувствовал в себе незнакомую силу, властную, резкую, неумолимую, долго боролся с ней и — побежал.

В доме, где жили участники геологической экспедиции, горел свет. Я распахнул дверь пинком ноги.

За столом сидело пять человек. Среди тарелок и консервных банок торчали бутылки.

Костя, сощурившись, смотрел на меня, потом протянул стакан и приказал:

— Выпей. За наши успехи.

Мне стоило больших усилий не ударить его по руке. Но я взял стакан и сказал:

— Выпью. За ваши успехи. За то, чтобы души ваши были такими же прекрасными, как ваша работа.

Странно: винные пары не бросились мне в голову.

— А почему вы считаете, что наши души нуж-

даются в ремонте? — спросил, недружелюбно взглянув в мою сторону, рыжий худощавый парень в красной ковбойке.

— Потому что среди вас есть мерзавец.

Ко мне подошел, пошатываясь, седой мужчина в белой майке, обтягивавшей расплывшееся тело. Он произнес, положив на мое плечо тяжелую руку:

— Если это так, мы... — и я чуть не застонал от резкой боли в плече. — Но если это не так... — я вырвался.

Мы с Костей встали.

Он усмехался.

— Ждем, — сказал кто-то.

— Слушайте, — ответил я. — Жила-была чудесная девушка. Прекрасная девушка. Умная. Чистая. Честная. Точно такая, какие вам часто снились в юности. И нет ничего удивительного в том, что я полюбил ее. Я знал, что только она может сделать меня счастливым. И вот появился он — хороший парень, не правда ли? Четверо его друзей ответили утвердительно.

— И хватит, — сказал Костя, — никого твоя болтовня...

Но его друзья велели мне продолжать.

И я рассказал обо всем, даже изобразил, как хохотал надо мной Костя у костра.

Он произнес лениво:

— Все это фразы. А я пойду к ней. Понимаешь? Сейчас. Понимаешь?

Мы молчали.

И Костя крикнул уже не мне одному, а всем нам:

— Я иду к ней! Ясно?

Когда хлопнула дверь, мне захотелось расплакаться, громко, обиженно, не сдерживаясь.

На мое плечо легла легкая рука. Я услышал глухой голос:

— Бывает.

Это сказал мужчина в белой майке. Он стоял, покачиваясь, словно выбирая место на полу, куда упасть.

Рыжий парень проговорил:

— Черт с ним. Он был хорошим топографом. Мы просидели почти до утра.

IV

Валентина пришла без опоздания, сказала:

— Поезд отходит в час двадцать. Он уверен, что я поеду с ним.

Я шел впереди. Она — следом.

— Вчера он был у меня, — проговорила она.

Я спросил через несколько шагов:

— Ну и что?

Шелестела под ногами трава. Со всех сторон подкрадывалась пока еще светлая темнота.

Валентина расплакалась. Я ускорил шаги. Чем быстрее мы шли, тем торопливее и громче были всхлипывания. Я сказал:

— Хватит.

Надо было уйти как можно дальше, туда, куда не долетает гул поездов.

Кругом была темнота и тишина. Ее нарушали поезда. Они шли один за другим. И чем дальше мы уходили, тем, казалось, громче был их гул.

Мы разложили костер.

Валентина сидела, цепко обхватив колени руками.

— Идем? — спросил я.

Она отрицательно покачала головой. Я смотрел то на костер, то на ее лицо.

Вдруг Валентина поднялась:

— Еще успею!

Я взял котелок, спустился к речушке, зачерпнул воды и вернулся к костру. Мне хотелось, чтобы пламя не гасло, чтобы его нельзя было потушить...

Зашипели угли, поднялись клубы пепла. Казалось, из котелка льется не вода, а темнота.

Погас последний уголек, будто подмигнул мне: ничего, ничего, бывает...

Прорывая тишину в нескольких местах, летел гул дальних встречных поездов.

— Не пускай меня, — шептала Валентина, — ты обещал... — Она порывисто обняла меня — так, наверное, она обнимала подруг или мать — и тут же оттолкнула, побежала.

Мы бежали напрямик — сквозь кусты. Руки иногда натыкались на деревья; по лицу хлестали ветки; на каждом шагу мы спотыкались. Я слышал тяжелое дыхание Валентины.

Вдруг я почувствовал, что не слышу ее. Именно — почувствовал, а не уловил слухом.

Остановился.

Тишина.

Я медленно побрел вперед.

И — со всех сторон на меня шли поезда, даже пролетали над головой. Они звали тоскливо, грозно, обиженно, возмущенно...

Я едва не налетел на Валентину. Она лежала на земле. Опустившись, я взял ее за плечи. Они вздрагивали почти в такт стуку колес. Потом Валентина притихла, вся вслушиваясь в него, впитывая его в себя.

Земля гудела.

Земля звала.

Паровозный гудок перекрыл гул. Валентина хотела подняться, но едва я опустил руки — иди! — как она снова села.

Наконец, все стихло.

— Холодно, — сказала она.

Я пошел собирать ветки для костра.

1959 г.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА ШАМЯКИНА

Иван Шамякин заболел.

Бледный, небритый, валялся он на кровати, высасывая папиросу за папиросой.

Потом вскочил и — к дверям.

А на улице дождь. Скоро рубашка облепила худое тело, русые волосы приклеились к голове.

Засунув руки в карманы, шагал Иван, будто знал, куда идет. Прохожие уступали ему дорогу: не потому, что догадывались о его недомогании, а потому, что он казался им пьяным.

Шел он, шел, через весь город прошел, очутился на окраине. Ни дождя, ни ветерка он не замечал. Ветерок был колюч.

Поежился Иван и остановился. Только тут он, собственно, и осознал, что промок и продрог.

Перед ним лежала неширокая улица из деревянных домиков, спрятавшихся за кустами и заборами. Небо было темно-серое, а улица, домики, зелень были все-таки веселые, вроде бы говорили: «Ничего, ничего, вот пообсохнем, и у нас здесь снова будет тишь да гладь да божья благодать».

Ветерок рябил большие, с черной водой лужи, похожие на озера.

Взбежал Иван на высокое крыльцо и поднял руки.

Так стучат, когда боятся: и того тише рука бьет, а по сторонам глядишь — не сбежались бы люди.

И тут же Иван пожалел: зачем он сюда пришел? Стучит-то зачем? Хоть бы не услышали!

Он уже и руки опустил, он уже ногу назад отставил, ступеньку нащупал... Ведь откроется дверь, увидит он человека одного, и вдруг не по себе станет ему, Ивану Шамякину? Виноват ведь он, душа изболелась, пустота в ней, в душе-то, хоть шаром покати.

Открыла дверь молодая женщина — человек этот самый. Звали ее Тося. По фамилии Козырева. Год рождения одна тысяча девятьсот тридцать третий. Пол женский. Социальное положение — служащая. Образование шесть классов. Наград, ученых званий, печатных трудов не имеет. Не судилась, не находилась, не участвовала и так далее...

— Ты? — спросила она больше удивленно, чем испуганно.

— Я, — ответил Иван, и спине стало жарко от колючего ветерка.

— Зачем? Чего тебе надо?

— Болею я... — вырвалось у Ивана. Замолчал он, ждал, что она скажет.

А она сказала:

— Входи... Входи давай.

«Не ходи, не ходи, не ходи», — простучало

сердце, но Иван шагнул через порог и оказался в коридорчике, оклеенном веселенькими обоями — голубенькими, с серебряными листочками.

Толкнув легкую дощатую дверь, он вошел в невысокую, с тремя окошками комнату. На подоконниках стояли цветочки в горшочках, обернутых цветной бумагой. На столике в углу радиоприемник «Рекорд», рядом патефон, на нем горка грампластинок.

Кровать деревянная, широкая — семейная. Пирамиды подушек с обоих концов.

Обои здесь грустноватые — синие цветы и полосочки.

С комода на Ивана удивленно смотрел розовый пластмассовый пупс. В руке у него связка сосок. В ногах — погремушки.

И еще раньше, чем увидел Иван за столом усатого смуглолицего мужчину, сообразил, что пришел зря; передохнул, будто собирался нырнуть, и сказал:

— Наследил я вам, — и стал смотреть вниз, чтобы спрятать глаза.

— Знакомься давай, — тихо предложила Тося, — это Антон.

— Очень приятно, — выговорил Иван, и каждое слово больно борозднуло по горлу; пожал крепкую твердую ладонь. — Живете как?

Молчание.

— Лучше всех! — будто спохватившись, громко ответил Антон и невесело хохотнул.

— Садись, — коротко сказала Тося.

— В ногах правды нет, — Антон хмыкнул, словно не в силах сдержать смех. — Садись,

пропустим по сто пятьдесят кипяточку. Лучше, конечно, этой... Но — нам в делах необходим экономии режим! — и опять невесело расхохотался.

Смех прозвучал как-то очень одиноко.

— Что нового? — спросила Тося, и от голоса ее в ногах Ивана появилась слабость — будто обняться позвала.

— Да вот заболел, что ли... — и дерзкая мысль о том, что они с Тосей говорят на непонятном Антону языке, взбудрила его. — Под дождь угодил...

— Шел дождь и два студента! — мрачно прогремел Антон, а Тося всхлипнула. — Опять? — деловито спросил он и пояснил Ивану: — Бывает... Женщина. Процесс производства у них особый. Спецтехнология. Я и предлагаю: полезно бы вместо кипяточку...

— Хочешь? — со слезами спросила Тося.

Иван поднял голову, увидел бездонные ее глаза, из которых в него шло горячее тепло, и радостно ответил, словно спрашивали его:

— Хочу.

— Академик! — насмешливо гаркнул Антон. — Всё понимает! — и, гулко стукнувшись головой о верхнюю перекладину в дверях, исчез за порогом.

А Иван смотрел на Тосю и видел ее всю. На ней была черная узкая юбка, каждый бугорок мускулов обтянут. Под капроновой кофточкой даже родинку меж лопаток видно. Нравилось раньше это Ивану, а теперь подумал: «Нехорошо, когда женщина для всех просвечивает». — Усатый муж тебе?

Она кивнула.

— Пришел вот я, — вырвалось у Ивана.

Тося повернулась к нему. Горячее тепло в ее глазах потухло. Она сказала:

— Поздно.

А он взглянул на ее грудь и вспомнил, такое вспомнил, что шагнул вперед с протянутыми руками. Тося остановила его взглядом и спокойно произнесла:

— Не твоя я теперь... — и зябко поежилась. — Женился?

— Собираюсь, — зло соврал Иван.

— Да уж пора бы.

И ни тоски, ни горечи, ни обиды не уловил он в ее голосе.

Подумал: притворяется; бросился к ней, обнял, но — руки сразу опустились, повисли.

— Ну? — прошептала она. — Чего остановился? Хватай давай, пользуйся, как тогда. Ничего ведь тебе больше не надо.

Дверь распахнулась. Антон шагнул через порог, звонко стукнулся головой о перекладину, крикнул от удовольствия, заговорил:

— «Московская» — раз, икра кабачковая — два, икра баклажанная — три, сырок ярославский — четыре, сырок плавленный — пять, колбаска, кильки... Привет рублям от копеек!

Муторно что-то стало на душе у Ивана, решил: выпьет стопку или две и — прощевайте, черт бы вас побрал!

Пластмассовый пупс смотрел на него внимательно, с интересом.

— Где купили? — машинально спросил Иван.

— В универмаге, — ответил Антон. — Можем подарить. Нам он теперь ни к чему.

— Да и мне не надо.

Тося сидела неподвижно, положив ногу на ногу, выгнувшись, и Иван доказывал себе, что она нарочно злит его: дескать, посмотри, какую бросил, ладную да вкусную; тебе сейчас по лужам топать, а мы с Антоном в тепле останемся; тебе в общежитие, а мы — вдвоем... понимаешь?

Антон торопливо расставил стопки и тарелки.

— Бюджет у нас того... писк и треск. Ей вот на пальто купили, мне полуботинки на обе ноги по штуке. «Крокодил» выписали, чтобы жизнь веселее была... — Он налил стопки. — Выпьем за то, чтобы скарлатины не было!

— Ну зачем ты... — Тося погладила его по руке.

— Знаешь зачем.

Иван подумал, что они говорят на непонятном ему языке.

— Да и душа у меня веселая, — грустно добавил Антон.

Он намазал кусок хлеба маслом, потом икрой, сверху положил сыр двух сортов, три кильки и зажевал.

— Душа! — зло повторил Иван, выпил, дернулся и невольно засмотрелся на Тосину грудь. — Главное, в человеке, конечно, душа.

— Профессор, — с набитым ртом одобрил Антон. — Все бы так здорово соображали.

Ел он много, будто сам в гостях сидел.

Откусив у кильки голову, Иван спросил:

— А кому она, душа-то, нужна?

— Человеку, — еле выговорил Антон, снова набив рот закуской.

— Человеку, — Иван покосился на пластмассового пупса, который не сводил с него глаз. — А что такое человек?

— Ты человек. Она вот человек. Я человек. За стеной у нас человеки живут. Не ахти какие, правда, но человеки. Напротив через улицу тоже. В городе. На всем земном шаре человеки живут. Ясное дело.

Хотел Иван заявить, что иногда человеку плохо живется, но Антон быстренько налил стопки и предложил:

— За то, чтоб человеков больше было!

Тося вскочила и — к окну.

Антон закусил губу, будто острая боль его схватила.

«Ко мне она хочет», — решил Иван, улыбнувшись, выпил, откусил у кильки хвост и сказал:

— Ваше дело простое. Пальто покупать да полуботинки. Одну пару купили, потом вторую, третью. И так далее, и тому подобное. Уа-уа заведете. Пригодится вам этот пучеглазик, — он кивнул на пластмассового пупса. — А может, и двух еще заведете. А дальше? Дальше что?

Молчание.

— А дальше что, я вас спрашиваю!

— Им полуботинки покупать станем, — тихо ответил Антон, продолжая закусывать.

Иван встал, произнес, наслаждаясь каждым словом:

— Жуй, жуй... пережевывай... Руки мой перед

едой. Уважай труд уборщиц. Переходи улицу в указанных местах. Так?

— Правильно. Быстро же ты захмелел. А с виду крепкий.

— И ты с виду ничего.

Помолчали.

— Образование у тебя какое? — спросил Антон.

— А чего тебе мое образование?

— А оно играет большую роль. Дурак себя любит. Умный — других. Закон природы. Тяжело опустившись на стул, Иван попросил:

— Плесни-ка. Быстрее выпьем, скорее уйду.

— За то, чтоб все здоровые были, — Антон выпил и с прежней старательностью продолжал закусывать. — А совесть у тебя есть?

— В норме.

— Тогда жить тебе, конечно, туговато.

— Без совести, выходит, легче?

Выждав, пока с наколотой на вилку кильки скапал рассол, Антон прожевал ее и ответил:

— Само собой. Закон природы. Чем человек лучше, тем ему труднее. Горе от ума — слышал? Дурак, подлец — ему что? Плунуть, к примеру, захотел, ну и плюнул, где стоит. А честный человек — плевательницу ищи.

Иван думал, что Антон сейчас расхохочется, но тот даже не улыбнулся, произнес, глядя ему в глаза:

— Или такие есть — обкрутит девушку, лишит ее одного качества...

— Подожди, — хрипло остановил Иван, — чего ты меня учишь? Святой ты, что ли?

— Не святой. У меня недостаток есть. Один, правда, но здоровенный. Мозги у меня, понимаешь, не ахти какие. Малогабаритные, так сказать... Ты меня учил. Теперь я тебя учить буду. По-своему.

— Кончайте давайте, — донесся тихий Тосин голос, — устала я.

Иван ударился локтями о стол, уронил голову на руки. Знал: бежать надо, пока не поздно, а сидел.

Антон в банке ловил последнюю кильку.

— Приляг, — сказал он Тосе, — посуду я вы-полоскаю.

— И пол подотру, — едко добавил Иван.

— А в субботу белье стирать буду, — Антон резко встал.

— А она? — испугавшись его взгляда, почти крикнул Иван. — Она что делать будет? Книжонки почитать?

— А она в школу пойдет, — Антон шагнул к нему.

— В какую школу? — Иван попятился к двери.

— В вечернюю школу рабочей молодежи номер сорок восемь... — и Антон прислонился к косяку.

Путь был отрезан.

Иван закурил, махнул рукой, но спичка не погасла, обожгла ему пальцы.

— Мне пора, — голос его пересох.

— Я провожу, — отдельно выговорил Антон, и под сердцем Ивана похолодело.

— Не надо, — сказала Тося, — не надо... да ну его...

Антон распахнул двери, пропуская гостя.

А на улице темень. Холодина.

Иван шагал впереди, пригнувшись в ожидании удара.

Сзади тяжело шагал Антон.

— Кто тебя просил жениться на ней? — через плечо спросил Иван. — А если женился, так...

— Направо.

Они свернули от трамвайной остановки. На каждой подошве было по полпуда глины.

Вода в лужах теплая, а по спине озноб бежал.

— Давай здесь, — попросил Иван, — чего грязь месить? — Холодный страх впивался ему в затылок. — Слышишь, давай здесь... Не боюсь я тебя! — и побежал, с трудом вытаскивая ноги из глины. Потом он резко повернулся, прислушиваясь к чавканью Антоновых сапог. Когда оно приблизилось, Иван что было силы бросил кулак в темноту почти наугад и охнул — попал в плечевую кость.

— А мне нельзя кулаком-то действовать, — донесся глухой голос. — Больно тяжел у меня кулак-то... Идем.

— Куда?

— Туда.

Иван посмотрел: впереди, на фоне бледного неба — кладбищенская ограда; обеими руками вытер потное лицо, крикнул:

— Не пойду!

— Пойдешь, — спокойно сказал Антон и пошел. Сам себе удивляясь, Иван двинулся следом. Страха уже не было. Было что-то другое, более неумолимое.

Дойдя до ограды, Антон протиснулся в узкую щель между досками. Иван уперся в них, хотел удержать себя, но — словно кто-то протолкнул его.

— Не вижу ни черта!

Где-то топал сапогами Антон. Иван двинулся за этими звуками, спотыкаясь, и наконец упал, уткнувшись руками в невысокий холмик — свежий еще.

Руки провалились в мягкий грунт.

Силы оставили Ивана.

Он с трудом поднял голову, увидел огонек папиросы, попросил:

— Закурить дай... чего тебе от меня надо?.. Не могу я больше... ноги не держат... больной ведь я... Чего надо?

— На месте уже, — тихо проговорил Антон, — мальчишка тут лежит. Аликом звали. Твой... — и повторил: — Аликом звали.

Вскочил Иван, долго не мог попасть кончиком папиросы в подставленный окурочок.

Антон взял Ивана за подбородок, дал прикурить.

1959 г.

НАЧАЛО СКАЗКИ

— Постыдилась бы такое говорить, — негромко сказал Алеша, и его тонкие, аккуратные губы презрительно искривились. Он вытянул перед собой руки, будто боялся, что Татьяна бросится к нему.

А она, раскрасневшаяся, с блестящими глазами, стояла, сжав, кулаки и повторяла:

— Нисколько не стыдно! Нисколько не стыдно!

— Будем здоровы, — угрюмо произнес Федор и опытным, почти незаметным движением опрокинул рюмку в рот.

— Налей и мне! — приказала Татьяна. — Назло ему. — Волосы ее метнулись в сторону невозмутимого Алеши. — Назло ему. Пусть он...

— Поставь рюмку на место, — спокойно перебил Алеша. — Не бравируй.

Татьяна взяла рюмку, взглянула на него, закрыла от страха глаза и выпила глотками. Вид у нее после этого был жалкий: она не то расчихалась, не то раскашлялась. Федор протянул ей здоровенный желтый огурец.

— Знать я тебя больше не знаю, — отдышавшись, сказала она, хрумкая огурцом. — Уеду я отсюда к чертовой бабушке.

— Правильно, — одобрил Федор и быстрень-

ко опрокинул рюмку в рот. — Дурак ты, Алеха, между прочим.

— Идем, — твердо позвал Алеша, не достаивая Федора ответом.

— Нельзя. У него день рождения.

— У него каждый день, — Алеша усмехнулся, — день рождения. Бутылочка. Закусочка.

— Не ври, — буркнул Федор, — могу и без закусочки. Брось его, Танька. Чего ты в нем обнаружила?

— А вот нашла чего-то, — задумчиво проговорила Татьяна, — а чего, не пойму.

— Выпей-ка, Алеха, — Федор пододвинул рюмку.

— Я не пьяница.

На улице было промозгло, но Татьяна не застегнула пальто, платок держала в руке. Шла она, не разбирая дороги, топая по ямкам в асфальте, наполненным водой, и Алеша больше смотрел на ее ноги, чем на свои, временами ловко отпрыгивая в сторону и просил:

— Осторожнее...

В вырезе платья у Татьяны замерзла грудь, и с грустью подумалось, что даже заболеть нельзя назло Алеше: здоровье не позволяет.

— Я сейчас книжку интересную читаю, — заговорил он, — хорошо автор жизнь описывает...

— Под ручку возьми, меня, ирод! — перебила Татьяна, и не успел он шевельнуться, как она ухватилась за его локоть горячими ладонями.

— Осторожнее...

— Не хочу я осторожнее! Наоборот хочу!.. У тебя хоть раз в жизни голова кружилась?—

с отчаянием и горечью спросила Татьяна. — Сердце хоть раз замирало? Во сне что-нибудь такое снилось? А? Вот когда ты на девчат смотришь, бывает у тебя...

— Дело в том, — испуганно перебил Алеша, — мало ли что там снится, голова кружится, сердце замирает. Если этому следовать, знаешь, что получится?

— Ну что? Что? — ласково, с надеждой спросила Татьяна.

— Ерунда получится, — ответил Алеша, — сплошные персональные дела. — Он улыбнулся своей шутке, но сразу стал серьезным. — У меня в жизни есть цель, понимаешь? Трудная, благородная цель. Ради нее и живу. Татьяна отпустила его локоть и громко вздохнула.

— Хочу настоящим человеком быть, — голос Алеши зазвучал торжественно. — Трудно это, конечно, но вполне выполнимо. И как же я могу позволить себе пить, курить, гулять с кем попало?

— Выходит, я для тебя — это «с кем попало»?

— Не совсем так. Но для того чтобы мы могли, например, дружить, мы должны узнать духовные запросы друг друга, выяснить...

— Уеду я отсюда, — перебила Татьяна, — измучилась я с тобой. Будто неживой ты, не-всамделишный. Губы кусаю, когда о тебе думаю, а рядом с тобой муторно!

— Это потому, — объяснил Алеша, — что ты неправильно думаешь о жизни. Живешь немного не так, как полагается. Образования у тебя всего шесть классов. Читаешь мало...

— Не пить, не гулять, не курить! — опять перебила Татьяна. — Да разве в этом дело? Что, по-твоему, при коммунизме голова не будет кружиться у людей? Сердце замирать не будет? Девчат, по-твоему, обнимать не будут? — вдруг раскричалась она, и растерявшийся Алеша не знал, убежать ему или ждать, когда она успокоится. — Человек должен все уметь! Все! И работать, и гулять! Какого дьявола толку, что ты не пьешь и не куришь?

Они прошли через весь поселок и остановились там, где кончалась асфальтовая дорога. Впереди мигали огоньки железнодорожной станции. Увидев их, Татьяна замолчала.

— Мы с тобой обсудим этот вопрос, — произнес Алеша, вздохнув. — Ты куда?

— Туда! — не оборачиваясь, ответила Татьяна, шагнув в темноту на скользкую, размытую дождями глинистую колею.

— Не сходи с ума.

— Сойду! Назло тебе!

Нерешительно потоптавшись на месте, Алеша старательно подвернул брюки и двинулся за ней, придерживая полы пальто руками. Внезапно он пожалел себя, и жалость оказалась острой. Даже сердце защемило. С ним, с сердцем, Алеша жил в вечных неладах: мягкий это орган, глупый, управлять им надо. Как так — сердцу не прикажешь? Мало ли что ему хочется!

Постепенно, в такт расчетливым шагам, и стук сердца стал неторопливым. Алеша думал сосредоточенно, не сбиваясь — как шагал, тщательно обходя лужи, ступая так осторожно,

что ни одна капелька грязи не прыгнула выше галош.

А Татьяна почти бежала, чувствуя, что холодные брызги попадают даже на колени.

Она любила станцию, любила смотреть и слушать поезда. Обидно только, что то место на земле, где она жила, было для них мгновением — и они проносились мимо, вдаль.

— Сумасшедшая, — сказал Алеша, нагнав ее у входа на перрон. — Не умеешь владеть собой. На, причешись, — он протянул расческу. — Хватит чудить.

— Зачем же тогда жить-то? — тихо отозвалась Татьяна, прислонившись к забору, тяжело дыша. — Нет, я буду чудить. Я тоже хочу настоящим человеком стать. Не думай, что ты один цели имеешь. И буду чудить. Я еще молодая... Вот, может, в поезд впрыгну. И уеду. — Без билета?

— Без.

— Ну и высадят тебя на ближайшей станции.

— Пусть. Я сказки люблю. Сама себе сказку выдумую.

— Сказки — дело хорошее, — согласился Алеша, — только ты учти...

Татьяна оттолкнулась от забора и пошла вдоль перрона.

Вдалеке прогудел паровоз.

Она остановилась прислушиваясь.

— Не валяй дурака, — сурово сказал Алеша, увидев на ее лице выражение мечтательности и лукавства. — Надо все-таки соотносить. — Он так разволновался, что взял ее за руку.

Татьяна вырвалась.

Мимо не спеша проплыл паровоз, один вагон, второй... С подножки прыгнул парень в тельняшке, сказал:

— Здравствуй, красавица!

Взглянув на Татьяну, Алеша едва не хмыкнул: красавица! Волосы растрепаны, губы толстые, глаза какие-то ненормальные.

А она ответила:

— Здравствуй... поезд ведь здесь не останавливается.

— Бог с ним. Догоню, если понадобится.

Мимо простукивали вагоны.

— Сумасшедший... останешься...

— Ну и что?

— Как «ну и что»? — возмутился Алеша, но парень даже не взглянул на него и проговорил:

— Поцелуй меня, красавица.

— Вы, гражданин... — начал обомлевший Алеша, но парень опять не обратил на него внимания и сказал:

— Смотри, вагонов шесть осталось, не успеешь. Жалеть будешь.

— А с чего это я тебя целовать должна?

— А просто так... я с детства сказки люблю... — он протянул руки, и Татьяна шагнула к нему, привстав на цыпочки.

— Скорее вы! — крикнул Алеша.

— Спасибо тебе, — сказал парень, — веселее мне будет ехать теперь. — Он вскочил на подножку последнего вагона. — Спасибо-о...

Качался в темноте красный огонек.

— Ловелас это, — строго сказал Алеша, —

или донжуан. Девушек обманывает.

— А ведь я не красавица, — прошептала Татьяна, — а он...

— Это у них метод такой, — объяснил Алеша, — в фельетонах часто описывается.

Татьяна повернулась к нему, заглянула в спокойные голубые глаза и сказала почти ласково:

— Ничегошеньки ты не понимаешь. И ничем ты Федора не лучше. И иди ты от меня хоть куда.

Алеша решительно нагнулся, подвернул брюки и двинулся по дороге, но через несколько шагов побежал, проваливаясь в ямки с водой, разбрызгивая во все стороны холодную грязь.

1959 г.

Женился я, как говорится, без любви. Никакого греха в этом не усматривал. И вообще притворяться я не умею — человек я честный и прямой.

Вот как все получилось.

Понравилась мне девушка одна. Было мне под тридцать, давление крови нормальное, физическими недостатками не обладал.

А Феня эта не то чтобы рук к себе протянуть не разрешала, а от взглядов вся краснела и убегала даже.

Чем она на меня воздействовала, непонятно. Девушка как девушка. Ничего особенного. Между нами говоря, я полных люблю, основательных, а она сухощавая, легкая — одной рукой поднять можно.

Глаза, правда, выдающиеся. Огромные они у нее были, непонятные. Иной раз взглянешь в них — и хочется, чтоб кругом тишина была.

Ну ладно, это все лирика-беллетристика. Пришел я к ней однажды выпивши. Не помню, как обнял ее, и более того, опьянел. Ну, думаю, сейчас она меня по щекам. Ничего подобного. Слышу:

— Люблю тебя, люблю...

Мне-то не до любви было, о другом думал, но

запомнил это. И не случайно, как потом оказалось.

Утром проснулся — жениться ведь надо. Так получается. Человек я честный, понимаю, что к чему.

— Что ж, — говорю, — придется...

— Нет, — отвечает Феня, — не обязательно. Если не любишь...

— Голова садовая, — говорю, — жизни не знаешь.

И до тех пор, пока не заставила меня чего-то там ей о любви сказать, не соглашалась. Мне бы, дураку, сразу смекнуть, что Феня не пара мне, вернее, я ей не пара...

В общем, женились.

Сначала мне это мероприятие даже понравилось. Не жизнь, а сплошное удовольствие.

Правда, пришлось сразу бороться. Она спортом занималась — бегала. По радио даже о ней передавали. Тренировки там разные. Один раз в газете про нее печатали. Неприятно мне это было... И еще мне не нравилось, что больно много она читала. Как только свободная минутка, так Феня за книжку... Получается, что она умная, а я...

А я высказал ей все прямо: так, мол, и так. Ну поплакала, конечно. На тренировки ходить перестала. Читать не бросила, но с книжкой мне на глаза почти не попадалась.

Семейная ситуация мне приелась. Надоела мне Феня-то, Анфиса моя, и, знаете, чем? Любовью этой самой.

Глазами на меня вот такими смотрит. Слова против не скажет. Раба божия, да и только.

А бог — я. Смешно, конечно, но факт. Думаю, хоть бы раз ты меня по роже отхлестала. Куда там! Дрожала она надо мной.

Верьте не верьте — скучища. Сидишь с приятелями где-нибудь за столиком, они нет-нет да про жен вспомнят, как те их дома встретят, какой скандал образуется. А я завидую. Мне даже поругаться никакой возможности нет. Я-то явлюсь домой, а Фенечка моя:

— Пришел, милый...

Ну, я куражиться начал. То одно выкину, то другое. Интересно мне было наблюдать, как она все это терпит. Человек я неглупый, сообразительный, среднее техническое образование, а тут растерялся. Не действуют на нее мои выдумки!

Раз ночевать не пришел, у дружка остался. Домой прибыл только наутро. Обняла меня Феня, Анфиса моя, целует.

— Да ты хоть спроси меня, где я был!

— Чего спрашивать? Не любя я тебе...

— Конечно, не Люба, — отвечаю, — а Феня. Таким вот образом и жили.

В воскресенье хоть волком вой. Проснусь я, а на столе уже пирожки. А она ждет, когда мое величество проснется. В желудке у меня пустота, откушу я пирожок, физиономию сморщу и скажу что-нибудь насчет качества приготовления пищи. И уйду. И дверью хлопну.

Вечером обратно приволокусь, а Феня-то, Анфиса моя дорогая, сразу:

— И верно, соды я переложила.

Иногда у меня в сердце прямо вулкан закипал. Осточертела мне эта самая любовь. Знал: все

она терпит, и неинтересно мне было жить с ней. Не со зла я ее обижал, а от скуки.

Сейчас-то я почти все понимаю, а тогда дурак дураком был...

В ноябрьские праздники, помню, вернулся с демонстрации уже под градусами.

— Потерпеть не мог? — Феня спрашивает.

— А тебе что?

Слушайте внимательно, что тут случилось.

Стоял я к ней спиной. В голове у меня шумело. И все-таки чувствую, что спину мне то ли колет, то ли жжет. Оборачиваюсь: глазищи Фенины меня насквозь просматривают.

И говорит она:

— Хватит дурака валять. Меня не бережешь, его, — руки себе на живот положила, — побереги.

Чего-то внутри меня дернулось и похолодело.

До Нового года я как мышь тихий был. Только все чаще и чаще я к Фене приглядывался. Голова сама в ее сторону поворачивалась.

Стыдливая раньше Феня была очень. Никогда при мне не раздевалась. За шкаф спрячется и — шмыг в кровать да еще одеяло до подбородка натянет.

А тут вдруг замечаю, что перестала она меня стесняться. Будто я пустое место. Похихикал я на эту тему, а у самого мурашки по сердцу забегали.

Не смотрит она на меня!

Спохватился я. Чувствую, что беда нас ждет, а какая беда, не знаю, не догадываюсь. Знаю только одно: нельзя мне Феню терять.

— Разлюбила, что ли? — спрашиваю.

Не отвечает.

Что делать? С утра до вечера об этом соображаю. И сообразил, так сказать. Решил я вести себя по-старому. Попляшешь ты еще у меня, решил.

Притащился я, помню, ночью. Феня читала. Одной рукой дверь открыла, в другой — книжица.

Вырвал я книжицу и — цап-царап, разорвал на две части.

И ведь не вскрикнула Феня-то, Анфиса моя дорогая, не заревела, ничего. Собрала свою книжицу и ушла.

Я, конечно, лег и сразу уснул. Утром просыпаюсь и жду, когда жена подойдет. А самому чего-то страшновато. Не выдержал, заорал: — Феня!

Окажись она здесь, я бы на колени перед ней грохнулся, прощения бы просил...

А ни ответа ни привета. Я на кухню. Дверь на улицу открыта. Я в роддом — может, туда ушла? Ведь вот-вот родить должна... Нет! По всему поселку ее искал. Опозорился с головы до ног. Виданное ли дело: муж жену потерял, жена мужа бросила... Ох и поохотали надо мной!

Положение у меня идиотское. Я, дурак, всем рассказал, все меня и спрашивают, где жена. А я знаю?

Спрятал самолюбие подальше, явился в детсад, где она работала. А она уже расчет взяла.

Крутись не крутись, пришлось в милицию то-

пять. Она, оказывается, Феня-то, выписалась — уехала! Ключ я в потайном месте оставлял, ну она без меня приходила, документы взяла, одежонку какой-какую и...

Вот вам и любовь.

Долго рассказывать, как я мучался. И если бы попалась она мне на глаза, не знаю, чего бы я с ней сделал!

Ну хоть бы слово какое мне сообщила! А то — испарилась. Причем, в положении... и это мне особенно было непонятно.

Сначала смешки смешками, а потом люди на меня стали пальцами показывать. За что? Я уж всех христов упрашивал, чтоб одумалась она. Верите ли, иную ночь глаз не сомкну, мысли перебираю — жду.

И вещи свои оставила, будто в физиономию мне их швырнула. Извините за выражение, трусики-лифчики разные как висели на кухне, так и висели, пока я их в чулан не унес.

Ждал, ждал... Да ведь нельзя же так! Куда уехала? Почему уехала?

Обидел я ее, наверно. На сердце у меня тяжело было. Честное слово, вот иной раз вспомню ее и... схвачусь руками за башку свою глупую.

Год прополз. Потом еще один. Еще. Крутился я, крутился, думал я, думал...

И женился.

А что прикажете? Тошно одному-то. Человек я, не телефон-автомат.

Тут я узнал, почем фунт лиха. И смех, и грех. Взяла она меня, новая-то жена, в оборот. Вот уж действительно не дыхни.

А я стал какой-то мягкий, добрый. Терплю. Деньги ее уважают, не разбегаются. Одеты мы с иголки, как видите. Мебели домой пона-таскали — повернуться негде. Квартиру я новую получил со всеми удобствами. И как в плену. Ни туда ни сюда. Пробовал однажды вырваться из окружения, а она, супруга-то моя новая, в профком да как там... разговори-лась!

Ее Клавой звать. Я ей однажды говорю:
— Феня...

Она меня по щеке. Удачно у нее это получилось — крепко, в цель, с чувством... Я молчок. А что прикажете делать? Клава тоже человек. И она ни в чем не виновата. Мне надо было соображать. В свое время.

Женщина она в моем вкусе — полная, основательная, приятно посмотреть. Но вот глаза у нее, если можно так выразиться, без взгляда. Глаза-то имеются, а в них-то ничего нет.

Чтобы от скуки спрятаться, начал я в книжки заглядывать. Привык. Вроде бы даже жить легче стало, особенно, если книга попадетсЯ интересная.

А жена не любит, когда я читаю. Конечно, я ее не виню, но ведь нельзя жить-то так!

Вот на работе меня хвалят, дескать, я сил не жалею и все такое. Правильно, работу я действительно люблю. Я, можно сказать, только на работе и живу. Ну а после что делать?

И все бы я стерпел, все... Одного я не могу терпеть. Нету мне спасения от напасти одной. Ведь девять с лишним лет я ее, Фени-то, голоса не слышал.

А ведь голос — это не лицо. Лицо-то можно вспомнить, а голос... Услышать его хочется. Я, конечно, не жалею: на кого жаловаться? Просто думаю много. Вот так... в общих чертах, конечно.

1959 г.

ЖЕЛТАЯ КОРОЛЕВА

Василиса Антоновна, высокая широкоплечая старуха, одетая в длинную черную юбку и короткий блекло-зеленый китель с нашивками за ранения, в сумерки тревожится всегда, будто ждет чего-то.

Иногда, очень редко, она подходит к покосившемуся на одну сторону шкафу, снимает с него шахматную доску.

Покрытый пылью черный король вот уже много лет не двигается с места. Кажется, он так привык к своему положению, что его давно не волнуют ни приготовившиеся к прорыву пешки, ни хитрая, злобная желтая королева, которой осталось сделать всего шаг, чтобы выиграть битву. За годы бездействия король стал равнодушным.

Старуха берет шахматные фигурки, обирает их пальцами, опускает на прежние места, и они стоят там до тех пор, пока руки снова не вспомнят о них. Именно руки: потому что все это Василиса Антоновна проделывает машинально, и можно подумать, что руки сами тянутся к неоконченной партии.

День — еще ничего, в делах да заботах пройдет как-нибудь, ночью — сон, хоть и стариковский, недолгий, а вот вместе с мутными су-

мерками на землю словно опускаются тревоги и ожидания.

Вздыхает Василиса Антоновна, вздыхает протяжно, будто всхлипывает, проводит рукой по сухим глазам, будто проверяет, не выбежала ли ненароком слезинка.

Мужа она похоронила, дети с войны не вернулись, всех близких одного за другим в последний путь проводила.

И перебирает она, уже не перечитывая, письма, фотографии — уже не разглядывая, а просто так... Хорошие дети были: и младший — Виктор, и старший — Владимир, молодые, ласковые, живые. Ушли, не доиграв шахматной партии...

Ждала она их, ждала. Бумажки похоронные сожгла в печке. Пепел поленом раздавила.

Сидела, помнится, вот так же в сумерки. Во дворик вошел мужчина. Пустой рукав короткого ярко-зеленого кителя с нашивками за ранения был булавкой приколот к боку.

Увидев на крыльце Василису Антоновну, мужчина снял фуражку, но не так, как снимают при встречах, а так, как прощаются когда.

— Здравствуешь, мать.

И отвернулся.

— Не плачь, не плачь, — шептала Василиса Антоновна, сухими глазами глядя в сумерки, которые сразу погустели. — Не мы одни.

— Специально пришел, — не поднимая головы, всхлипывая, говорил мужчина, — чтоб не ждала. А ведь, знаю, ждете... себя изводите... а не придут они все равно...

Когда сели за стол, она удивленно сказала:

— Смотри ты... со своими ни разу в жизни... Ну, помянем давай... и они при мне ни разу... ну, помянем...

Гость взял стакан, расплескав, поднес ко рту, присосался. Старуха выпила не поморщившись, сидела прямо, даже чуть-чуть запрокинув голову, тупо глядя перед собой.

— всю войну я с ними, — сказал гость, — всю войну... — по его щекам, прыгая через красноватые шрамики, бежали слезы. — И шарахнуло нас одной миной... меня-то кое-как сшили... Я ведь весь исковерканный, мать! — жалобно крикнул он, рванув воротник. — Не человек я! Урод! Инвалид я, мать! Уж лучше бы...

— Молчи, дурак, — глухо перебила Василиса Антоновна.

— Всякому своя печаль!

— У всех одна печаль... На-ко пей.

Он покорно, как лекарство, взял стакан, сказал:

— Чтоб им... — И замолчал, сжав розовые, изрезанные губы.

— Земля была пухом, — досказала Василиса Антоновна, словно речь шла о чем-то, ее не касающемся. — Закусывай только... — и вдруг вскрикнула: — За что? — и крепко вцепилась себе в волосы, чтобы одной болью заглушить другую. — За что? Обоих-то?

Долго молчали.

— Ты прости меня, мать, — сказал гость. — Так-то лучше, когда знаешь... Видал я, когда зря-то ждут, с ума сходят.

Василиса Антоновна не то согласно, не то осуждающе качала головой.

— А наша доля тоже не шибко завидная... я ведь не этого, мать, боюсь, — гость пошевелил плечом в пустом рукаве, — и не рожки своей изувеченной боюсь. Души своей боюсь. Знаешь, как мне душу-то искромсало? Живого места на ней нету. Чинить ее надо! А чем? — прохрипел он. — А где? А кто?

— Залечат, — почти небрежно ответила Василиса Антоновна. — Все залечить можно. Я и то жить буду. Может, долго еще промыкаюсь. Не хочу я людей своей смертью беспокоить... Звать-то тебя как?

— Владимиром, — с усилием произнес гость. Она медленно подняла на него голову: удивилась.

— Ты, мать, меня не суди, — тонким голосом попросил он, — у всякого своя печаль... Вчера на кухне кастрюля грохнулась, так я под кровать залез. В ушах-то все еще война, понимаешь? И чем тише кругом, тем... Долго я еще воевать буду... а ты, видно, ждешь...

— Спать останешься?

Долго сидела у него в ногах Василиса Антоновна. Лежал Владимир лицом вверх, положив здоровую руку на обрубок в плече, дышал прерывисто, громко, временами мелко вздрагивал.

Она унесла китель и повесила на стул костюм-тройку, на пол поставила ботинки, потом рубашку принесла.

Проснувшись, Владимир сразу увидел костюм. Василиса Антоновна смотрела невозмутимо, и он сказал:

— Спасибо, мать.

С тех пор и носит она китель вместо кофты. Изредка Владимир навещал ее, коротко, словно виновато рассказывал о своей жизни, и вечер они просиживали почти молча, оба тяготясь этим. После его ухода руки Василисы Антоновны тянулись к шахматным фигуркам.

Однажды Владимир пришел с застенчивой полной девушкой. У нее были пышные льняные волосы, гладкие розовые руки и ласковые голубые глаза. Вся она была именно такой, какой жены желала своему старшему Василиса Антоновна. Вот и всплакнула... Зато в этот вечер они разговаривали необычно много. Вернее, говорил один Владимир. Он рассказывал о войне, как о невозвратно ушедшем, пережитом.

В другой раз он принес толстого тяжелого малыша — Ванечку, именно такого, каким представлялся Василисе Антоновне собственный внук. Они по очереди прикасались к нему, чтобы вернуться из воспоминаний в действительность.

— Забывать меня стал, — без упрека сказала Василиса Антоновна.

— Не угадала, мать. С утра-то день долгим кажется, а вечер подойдет — только руками разведешь: того не успел, этого не успел. Жена у меня в вечерней школе учится, сам я по макушку занят. А сын — тоже ведь работа.

— Знаю, знаю.

Уйдут они, а она — за старые письма и фотографии, и не переживает уже, а просто вот так — не здесь она и не там, а — нигде.

Сумерки... и нет в них теперь ни тревоги, ни ожидания. Зыбки они, как старая память. Но сумерки постепенно превращаются в темноту. Василиса Антоновна зажигает настольную лампу, убирает на место письма и фотографии, уходит из дому — к соседям, что ли, или погулять.

Лампа горит, так легче домой возвращаться, будто есть кто-то дома.

В другой раз Ванечка ковылял рядом с отцом.

— Видишь, мать, рука у меня отросла, — сказал Владимир, кивнув на неестественно прямой протез в черной перчатке. — И тебе мы подарок организовали, — Он развернул перед ней отрез материи. — Сшей-ка платье. Китель пора в музей сдать.

— Ладно, — тихо и равнодушно отозвалась Василиса Антоновна. — Места бы только в музее хватило. На все кителя-то.

Ванечка раскапризничался, и она ушла на кухню поискать ему чего-нибудь.

Случайно взглянув на шкаф, Владимир заметил шахматную доску. Он неловко опустил ее на стол, и фигурки сдвинулись со своих мест. Радостно повизгивая, Ванечка начал их раскидывать.

Войдя в комнату, Василиса Антоновна охнула.

— Не бойся, мать, не ломаем.

— Да чего там, играйте на здоровье.

Когда гости ушли, она собрала фигурки и, долго, мучительно вспоминая, расставила их на прежние места.

Только желтая королева исчезла. Видимо, далеко куда-то забросил ее Ванечка.
Василиса Антоновна опустилась на колени и стала шарить по полу...

1959 г.

БЫВШИЙ КАПИТАН

Лето я прожил в поселке на берегу Камы, и у меня появилось желание остаться здесь на зиму.

Но хозяин дома, низенький, рыхлый мужчина в белом, всегда безупречно отглаженном кителе, всегда с огромным платком в руках, ответил, что зимой у него живет один и тот же человек, который должен приехать в день моего отъезда — в субботу.

Возвращаться в город мне не хотелось, и я спросил разрешения остаться до воскресенья. — Дело ваше, — пробормотал хозяин, вытирая лысину платком, — но не советую... очень уж он...

Я пропустил предостережение мимо ушей. Вечер выдался хмурый. Ветер шуршал обрывками обоев. В комнате было пять окошек, и если закрыть глаза, то создавалось впечатление, что находишься не под крышей, в четырех стенах, а на открытом воздухе: столько со всех сторон доносилось звуков. Прямо в ухо гудели парходы, фыркали сирены самоходных барж, покрикивали речные трамваи, разговаривали люди, шумели сосны.

Мне было тревожно... Я лежал не зажигая огня. Порывы ветра продували комнату на-

сквозь. Дверь поскрипывала, будто кто-то невидимый толкал ее. Чем темнее становилось за окнами, тем сильнее я ощущал что-то похожее на страх или недоброе предчувствие.

В комнате неслышно появился хозяин. Он долго вытирал лысину огромным платком, потом сказал неуверенно:

— Можно ложиться спать.

— Почему же вы сдаете ему комнату, если...

— Боюсь, боюсь, — торопливо ответил хозяин, — то есть не боюсь, конечно, а остерегаюсь. Предпочитаю не связываться... Да и жалко его, знаете ли, жалко... — и исчез: видимо, не хотел объяснений.

Потом сквозь дремоту я слышал громкие резкие шаги и мелкое постукивание.

Ветер раскрыл дверь, через порог ступил человек. Я не видел его, а чувствовал или ощущал — не знаю, как сказать. Не различая даже очертаний фигуры вошедшего, я был убежден, что он высокого роста, худ; взгляд его просверливает темноту.

Где-то поблизости удивленно и обиженно прогудел пароход.

— «Тургояк» на мель напоролся, — радостно сказал человек сиплым голосом.

Щелкнул выключатель, я зажмурился и некоторое время боялся открыть глаза.

У порога стоял высокий худой мужчина в затасканном темно-синем плаще, в капитанской фуражке без герба, с переломанным надвое козырьком. Крючковатыми пальцами он держал за горлышко темно-зеленую бутылку с

белой наклейкой. В другой руке у него была маленькая вобла, висевшая на обрывке шпагата. Он ударял ею по сапогу, как хлыстиком.

Рядом стояла большая овчарка неопределенной масти; сквозь слезавшуюся на боках шерсть проступали ребра. Тоскливо и виновато взглянув на меня, собака простучала когтями по полу и нырнула под кровать, на которой я лежал.

Мужчина безгловым движением отодвинул на столе книги в сторону, поставил бутылку, торжественно положил воблу и сказал:

— Напоролся на мель, стаскивать надо... стаскивать надо...

Он взял бутылку, долго вертел ее в руках, будто не знал, что с ней делать, и резко ударил в дно ладонью. Выплеснув из кружки остатки чая на пол, налил в нее из бутылки и протянул мне.

— Я не пью.

Его худое, с оплывшими веками лицо вытянулось, но вслед за этим он понимающе осклабился — дескать, знаем мы вас.

— Ну!

— Честное слово, я не...

— Ладно, ладно! — просипел он. — Давай! — красные пятна на его скулах, образованные сеткой прожилок, потемнели. — Давай, давай! — выцветшие или словно разбавленные влагой глаза с красноватыми, без ресниц, веками сощурились. — Брезгуешь? А? Интеллигенция... — Он выругался, помолчал и снова выругался, еще грубее, еще отвратительнее.

В ругани отсутствовал смысл, она была беспорядочным набором самых непристойных слов. Голос временами срывался, и тогда бледные, без кровинки губы беззвучно извивались.

— Не будешь?

— Нет.

Он сел, долго молчал, держа кружку перед собой, глядя на нее с мученическим видом — будто выпить ему стоило больших усилий.

Пил он медленно, сквозь плотно стиснутые губы.

Меня передернуло.

— Будем знакомы, — просипел мужчина, вытирая рот рукавом, — капитан Балаков... — Он понюхал воблу. — На мель напоролся... стаскивать надо...

Под кроватью жалобно вздохнула собака.

«Тургояк» прогудел требовательно, возмущенно.

— Родился я в семье речника, — вдруг начал рассказывать Балаков. — Всю жизнь я отдал на благо... Да-амка!

Из-под кровати, униженно поникнув мордой, вылезла собака.

— Вот мой единственный друг, — отрекомендовал Балаков, — никогда меня не бросит. Ни за что. Ни за какие деньги. Выпей за мое здоровье, — Он на мгновение наклонил бутылку над полом.

Собака виновато посмотрела на меня, тяжело вздохнула и, закрыв глаза, провела языком по лужице. Тело ее дернулось, она поджала хвост, снова лизнула и юркнула на свое место.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— Она тоже хочет, — Балаков хрипло прохотал. — А ты что, жалеешь? — с ненавистью спросил он. — Скотину жалеешь?

Настойчиво прогудел «Тургояк».

— Ори, ори... — Балаков смачно выругался. — Русский человек без водки не может. Понятно? Который не выпивает, у меня в того веры нет... Кто я теперь? Хомяк. Суслик. Мышь. Воробей бесхвостый. Мухомор жареный. А кто я был? Да-амка, кто я был?

Собака вздохнула.

— Во-о, — он поднял скрюченный палец, — все понимает друг мой последний. Никому я, кроме нее, не нужен. Все от меня морды отвернули. Только она меня не бросит. Ни в какую.

— Пили, наверное, много.

— Само собой! — с гордостью отозвался Балаков. — А кому какое дело? На свои пил, не на чужие. Ты на работу мою смотри. И всё, и точка. А то есть еще у нас такие: и матом не балуются, и, кроме соды-крем, не пьют ничего, и жене не изменяют, а работать не могут. А мы и в работе, и везде первьяком.

«Тургояк» прогудел радостно, густо.

— Снялся, — мрачно сказал Балаков, — и мне надо... ту-у... ту-у... ту! — прогудел он, налил в кружку и легко выпил.

— Где вы работаете?

Он махнул рукой, но ответил важно:

— Капитаном... Да-амка!

Собака выползла из-под кровати, косясь на меня. Я погладил ее. Она беззвучно оскалилась.

— Ну-ка, — проговорил Балаков, — давай! Вырази наши соображения! Ну!

Вытянув шею, собака коротко взвыла, словно пробуя голос.

— Порядок, — одобрил Балаков, — крой дальше.

Дамка выла, закрыв глаза. Это была самая настоящая тоска, пусть собачья, но настоящая. У меня даже запершило в горле. Вой — от глубокого, рыкающего до тонких повизгиваний — подействовал на меня так, что я пожалел Балакова.

А он весело подбадривал:

— Давай, давай!

Кончив выть на тонкой, раздражающей слух ноте, собака с мольбой взглянула на меня.

— Дамка, Дамка, — позвал я и протянул руку, — иди, ну, иди, хорошая, умная...

Она лизнула мне руку сухим языком и спрятала морду в колени. Тело ее мелко подрагивало.

— Да-амка, сюда!

Но она еще плотнее прижалась ко мне. Балаков вскочил, занес ногу и пнул. Собака взвизгнула и юркнула под кровать.

Балаков понял, что сейчас я готов на все, и шагнул назад. Да, если бы я не сдерживался, то вышвырнул бы его в окно и с наслаждением прислушался бы, как он шмякнется о землю.

— Собака, — сквозь зубы процедил он, взял в руку бутылку таким движением, словно собирался не наливать, а запустить в меня.

— Прощай, Дамка, — сказал я, и собака отозвалась постукиванием хвоста об пол.

На дворе была кромешная ночь. Холодный ветер едва не сорвал с моей головы кепку. Я поспешил спрятаться за ствол сосны. Спички гасли, не успев вспыхнуть.

Меня трясло, и я не сразу понял, что это не от холода.

За калиткой проплыл в воздухе огонек папиросы, донесся голос хозяина:

— Зачем связывались? Я предпочитаю...

Из дома раздался тоскливый вой. Я бросился обратно к калитке сквозь плотный встречный ветер.

Балаков сидел на кровати в безвольной позе, согнувшись, опустив руки, широко раскинув острые колени.

Дамка обрадованно, но вяло вильнула хвостом. На глазах ее были слезы.

Порыв ветра пролетел сквозь комнату.

— Ты! — сказал я, — Уходи!

Он махнул рукой и лег. Я крикнул и лишь тогда понял, что это было ругательство.

Балаков ожил, с трудом встал и подошел к столу.

Я налил остатки водки в кружку и подал ему.

Он глотнул, вытер губы рукавом, просипел:

— Пока.

Дамка подбежала к дверям. Я протянул ей руку, но она сделала вид, что не заметила этого.

— За сколько продадите ее? — почти крикнул я.

Балаков пожал плечами, ослабил и ответил:

— Пол-литра.

Обескураженный, я принялся шарить по карманам и отдал Балакову все деньги. Он поплюнявил большой палец правой руки, пересчитал, хмыкнул, помолчал и сказал:

— Вот... она меня не бросит, друг мой последний... привязывай ее крепче...

Он сунул пустую бутылку в карман плаща, взял воблу и, цыкнув на Дамку, ушел.

...Утром, когда я проснулся от тепла солнечных лучей, собаки в комнате не было.

1959 г.



ТЕТРАДЬ
ПЯТАЯ



MAISON

РАЗБОЙНИЦА НЮРКА

Однажды Нюрка ни с того ни с сего заявила на вечере в клубе, когда гармонист отложил свой инструмент, чтобы покурить, а танцоры присели отдохнуть:

— Я бы за любого вышла, только бы хороший парень был.

Красотой она не отличалась, было в деревне много девчат куда ее попримядрнее, но опять же — девушка она работающая, добрая, фигурой ладная.

И все-таки слова ее, сказанные громко и тоскливо, остались без ответа. Пошутили и — забыли. Получилось, что будто и сама Нюрка в шутку высказалась.

Через несколько дней явился к ней киномеханик Петюня. До него стороной доползли слухи о Нюркиной готовности выйти замуж и без особого разбора. Петюню привлекло именно последнее обстоятельство: свою руку и сердце он по нескольку раз предлагал во всех деревнях, где бывал с кинопередвижкой, но еще ни одна девушка и даже вдова не ответила согласием.

Причина этого грустного и обидного для Петюни факта крылась вовсе не в том, что он ростом с годовалого теленка, и не в том, что

самой заметной частью его внешности были тонкие, почти прозрачные уши.

Девушек отпугивала его способность круглые сутки пребывать в состоянии, которое они определяли точной и выразительной фразой:

— Через губу переплюнуть не может.

Нюрка его даже в избу не пустила, закричала с крыльца:

— Я как сказывала? За хорошего, говорю, выду! А ты? По колена в водке живешь! Иди отсюда!

Петюня ничего не понял из этой возмущенной скороговорки, потому что пребывал в своем обычном состоянии. Однако он уразумел, что очередная невеста гонит его прочь. Посему Петюня обругал ее не очень приличными словами и тут же получил под глаз.

Сразу протрезвев, он изрек:

— Разбойница ты, а не человек...— Отошел на несколько шагов, обернулся и добавил: — Дура ты... такого парня... эх!

Удивительно, что он не только рассказывал всем о причине появления на своей физиономии синяка, но и при каждом удобном случае отзывался о Нюрке с уважением, употребляя слово «резонно».

Но прозвище Разбойница пристало к Нюрке накрепко, да и сама она, видимо, старалась его оправдать.

Работала она свиначкой, своих подопечных называла тютюлечками, а породистого хряка, купленного в соседнем районе, без всякой задней мысли окрестила Шефом.

Председатель колхоза Добродеев, помнится,

уличил Нюрку в политической ошибке и дал указание переименовать хряка в Кавалера. Но свинарки благозвучия ради продолжали именовать деятельность Кавалера не иначе, как шефской помощью.

Сущим несчастьем для председателя было то, что Нюрка читала газеты и о самых интересных заметках на колхозные темы рассказывала всей деревне.

Про плохое, упоминавшееся в печати, она говорила: «Как у нашего Добродеева», а про хорошее: «Ну, при нашем Добродееве этому не бывать».

Председатель не без основания полагал, что его авторитет подрывает главным образом Нюрка.

Ссорились они на каждом шагу.

К примеру, нельзя сказать, что Добродеев был против животноводства, но любил он помечтать о чем-нибудь более грандиозном и красивом, чем строительство кормокухни или вывозка навоза.

Однажды председатель отбыл в районный центр, где должен был купить резиновые сапоги для свинарок. Вернулся он без сапог, но в белых фетровых валенках.

— Как с сапогами? — уже на крике спросила Нюрка.

Добродеев подумал и ответил:

— Другие дела были. Вот!

И стены правления он собственноручно оклеил красочными плакатами. Они призывали: «Лучшие сорта яблонь и груш — в колхозные сады!», «Выращивайте рыбу в колхозных пруд-

дах и водоемах!», «Лучшие сорта косточковых культур — в колхозные сады!»

Председатель прочитал призывы вслух, а Нюрка сказала тихо:

— С тобой мы скоро косточки протянем. У нас на ферме навоза...

— Сознательности у тебя ни на вот! — и Добродеев показал розовый кончик своего толстого мизинца. — Ты смотри перспективно.

— Это как?

Вторично выговорить трудное слово он не решился и ответил:

— А так. Вперед, в будущую даль.

— Мы, значит, на ферме под ноги смотри, а ты — в будущую даль? — Нюрка сощурила и без того маленькие глаза, тяжело задышала. — Да в такой грязи не то что свинья, а и человек не выживет!

Разгневанный Добродеев несколько суток не выделял для вывозки навоза с фермы ни одной единицы гужевого транспорта, а проще говоря, ни одной кобылы.

Когда он прослышал, что Нюрка всенародно обозвала его шефом, то прикатил на ферму в расписной кошевке, в которую была запряжена лучшая лошадь — Мазонка.

Он вышагивал по двору осторожно, и даже недавно выпавший снег по сравнению с его новыми валенками казался сероватым.

Добродеев шествовал не глядя по сторонам. Из дверей фермы выскочила Нюрка, разрежала воздух свистом, обхватила перепуганного председателя, поднатужилась и втолкнула в свинарник.

Звякнул тяжелый засов.

Утонув валенками в жидком месиве, председатель на некоторое время лишился дара речи, а когда этот дар к нему вернулся, до девушек долетели такие слова, что Нюрка прикрикнула:

— Милицию позову! Она тебе!..

Смех смехом, а свинарки на всякий случай разбежались кто куда. Нюрка же выпрягла Мазонку из расписной кошевки и запрягла в сани, на которых стоял короб.

Дверь она не открывала до тех пор, пока Добродеев не умолк.

Валенки его имели жалкий вид.

Нюрка стояла перед ним с вилами в руках.

— Погодь, разбойница, — сквозь зубы процедил он, — ты у меня...

— Не у тебя я! — перебила Нюрка. — У колхоза я. У меня и родных-то никого нету. Один колхоз остался... В другой раз я тебя всего в навозе вываляю!

С этого случая отношения между нею и председателем, как говорится, обострились до предела.

На собрании однажды объявляют:

— Слово имеет товарищ Добродеев.

А Нюрка из зала кричит:

— Нету у нас такого! Худодеев есть!

После собрания он зашел к Нюрке.

Она приготовилась стирать, через плечо взглянула на незваного гостя и склонилась над корытом.

— Присяду если? — вроде бы даже ласково спросил Добродеев, опустился на лавку, рас-

стегнул полушубок, выпустив живот на колени. — Замуж бы тебе. Как ты на это смотришь?.. Но женихов за тобой не видно. А изба у тебя кособокая. Хозяин ей нужен. Упадет изба скоро.

— Хорошо, если бы на тебя! — отрезала Нюрка.

— Напорешься ты когда-нибудь языком на гвоздь, — озабоченно и сочувственно проговорил Добродеев. — Замуж у тебя, повторяю, не получается. И не получится. Характер у тебя поганый, разбойничий. Боятся его парни. Шутка сказать: самого председателя честишь. Самого председателя! — с неподдельным ужасом повторил он. — Даю совет: угомонись.

— Петюня за меня сватался! — гордо бросила Нюрка.

— Не жених это, — Добродеев хмыкнул, — а жмых.

— Жмых — тоже дело полезное.

— Угомонись или... — Добродеев помолчал и твердо закончил: — Или до свиданья. Понимаешь?

— Что-о? — Нюрка встала перед ним, уперев руки в бока, выпятив грудь. — К чему клонишь?

Он поднялся, оглянулся на дверь и прошептал:

— Уезжай-ко. В город, к примеру. Паспорт выдам. Отпущу.

Спас Добродеева рост: даже подпрыгнув, Нюрка не достала председателевой щеки и ударила его в живот. Разревевшись от обиды,

она вытолкала гостя из избы, бежала по улице следом и кричала:

— Я те выдам! Я те отпущу! Я те уеду!

Откуда ни возьмись, появился Петюня, не разобрав с пьяных глаз, в чем дело, свалил и без того перепуганного Добродеева в снег.

Но если председатель вылез из сугроба сам, то вытащить на дорогу Петюню Нюрке стоило большого труда. Пока она дотолкала его до избы, вспотела в своем легком ситцевом платье.

Дома Нюрка напоила парня горячим чаем. Петюня виновато молчал и лишь изредка спрашивал:

— Что будет? Кому попадет?

Нюрка сидела рядом, разгоряченная, взбудораженная. От близости с ней Петюня расслабел, как бы невзначай коснулся ее плеча и как бы между прочим спросил:

— Хорошо бы нам... а?

— Чего — а?

— Ну, это... я ведь на окладе... с профессией... на совещании культработников был...

И неожиданно для самого себя он обнял Нюрку, и она, не зная ласки, вдруг притихла.

Петюня до того испугался собственной смелости, что не шевелился и молчал.

По мере того как он трезвел, Нюрка, наоборот, все ниже склонялась к его плечу, чувствуя, что голова идет кругом.

— Об чем ты давеча говорил? — спросила она.

— Да про то... про это...

— Пьяница ты, — придя в себя, сказала Нюрка и отодвинулась.

— Какая я пьяница! — взмолился Петюня. — Да разве так пьют? С горя я употребляю... А на свадьбу, знаешь, кого позовем? Начальника райотдела кинофикации. Это раз. Из отдела культуры. Это два. Киноартистов можно позвать. Они всегда с удовольствием.

— Не знаю, не знаю, не знаю, — радостно шептала Нюрка.

Тут прибежали девчата и набросились на кинемеханика: в клубе полно народу, а он...

И вместо обычных ругательств они услышали: — Извиняюсь, простите. — Петюня помолчал и добавил: — Резонно.

Изумленные девчата попятились к выходу. В этот вечер случилось еще одно чудо: Петюня демонстрировал фильм трезвым. Нюрку он пропустил без билета и посадил рядом с аппаратом.

После сеанса девчата спрашивали:

— Нюрочка, когда в другой раз кино придет?

Утром Добродееву доложили, что Нюрка уехала в районный центр. Председатель отозвался радостно:

— Нарушение трудовой дисциплины, то есть устава сельхозартели... — но тут же побагровел и дал указание запрягать Мазонку.

Оказалось, что Нюрка уехала именно на этой лошади.

Добродеев скрипнул зубами, велел женщинам выйти и на одном дыхании выбросил все ругательства, какие только знал.

А Нюрка в это время была в райкоме партии. Она заходила в каждый кабинет и кричала, что Худодеев губит колхоз.

Рядом стоял Петюня, и когда она замолкала, чтобы набрать в легкие воздуха, мрачно произносил:

— Резонно.

В тот момент, когда Нюрка рассказывала о жизни колхоза в приемной секретарей, сюда явился сам Добродеев.

Их приняли вместе.

Петюня остался за дверями и, вытянув шею, прислушивался.

Нюрка кричала. Она не выбирала выражений. Например, в ее рассказе о грязи на ферме слово навоз отсутствовало.

Услышав, что в кабинете наступила тишина, Петюня рванул дверь и выкрикнул, закрыв от страха глаза:

— Резонно!

В горле у него мгновенно пересохло, он схватился за графин с водой и долго не мог попасть струей в стакан.

Выйдя из кабинета, Нюрка устало улыбнулась. Петюня, в конце концов, наполнил стакан, но отпил прямо из графина.

Добродеев выскочил из кабинета, вылил себе в рот стакан воды, крякнул.

Пока он отвязывал Мазонку и, сев в кошевку, укутывал ноги волчьей полостью, Нюрка и Петюня шептались. Она вдруг рассмеялась — никогда Добродеев не слышал у нее такого ласкового смеха — и сказала:

— Это мы еще посмотрим.

Потом она свистнула так, что Мазонка с места помчалась почти галопом.

Добродеев испуганно поджал ноги и пробормотал:

— Разбойница...

1959 г.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Р. Р. Гельгардту

В один, как говорится, прекрасный день Пелышеву исполнилось шестьдесят, и он, никогда не отличавшийся нежностью и особенным вниманием к людям, даже близким, начал испытывать желание улыбаться каждому встречному.

Всю жизнь почти равнодушный к природе, теперь он мог до онемения в затылке смотреть на небо, следя за движением облаков, бродить под дождем, слушать ветер или удивляться краскам осени.

Осень Пелышев любил больше всего. А в осени он больше всего любил опавшие листья. Невеселая мысль пришла ему однажды в голову: он словно прощался с природой, спешил ее разглядеть перед тем, как расстаться.

Мысль эта не огорчила его, а наоборот, утвердила в желании бродить под дождем, смотреть на небо, слушать ветер, улыбаться прохожим, собирать опавшие листья.

Круглый год в комнате стоял запах этих листьев, и Пелышев глубоко, до сердца вдыхал его.

Вставал старик рано, выпивал стакан чаю, уходил гулять и возвращался к тому времени, когда приносили газеты.

Гостей он не любил: они, люди его возраста, говорили, долго и с удовольствием, о болезнях, жаловались на детей, внуков и жен. Ему становилось совсем тоскливо, потому что его старое тело было начинено болезнями, а в живых не осталось никого из близких.

Пелышев редко бывал на кладбище и, придя туда, не каждый раз навещал могилу под молодой березкой, проходил в отдалении, остро ощущая свое безысходное одиночество.

У могилы он бывал обыкновенно осенью, собирал жухлые березовые листочки и раскладывал их у подножья деревянного белого креста. На него Пелышев старался не смотреть, но все-таки взглядывал, и в сердце рождался страхок, не страх, а именно — страхок. Маша не верила в бога, а вот перед смертью вдруг попросила крест...

Разложив листочки, Пелышев опускался на ветхую скамеечку и долго сидел, опершись подбородком на самодельную черемуховую трость.

Однажды, возвращаясь с кладбища, он задержался перед входом в церковь, над которым висели буквы «ХВ», составленные из электрических лампочек. Черная пасть дверей дышала чадным теплом.

Люди входили туда медленно, как-то сжавшись, втянув голову в плечи, — будто неохотно входили.

Пелышев усмехнулся и направился домой. На другой день он, недовольный своим любопытством, вошел в церковь. Кругом стояли скорбные, невидимой тяжестью придавленные люди. Крестились и кланялись они испуганно, торопливо. Поддаваясь тому самому страшку, который охватывал его при виде креста на могиле жены, Пелышев втянул голову в плечи, согнулся.

Страшок сменился ощущением приятного бессилия, успокоения, которые шли от сознания, что он не один здесь со своим горем и одиночеством, что бороться с тоской нет смысла, лучше и легче — отдаться ей.

Ничего, ничего, все там будем... Мелок и ничтожен ты, человек, слаб, и — склонись...

Какой-то святой с потускневшей иконы смотрел на Пелышева страдальческим и вместе с тем едким взглядом, и старик, сразу почувствовав себя виноватым, согнулся еще ниже.

Выйдя из церкви, он облегченно вздохнул, будто оставил там половину горя или, наоборот, прихватил и чужого, и кому-то стало легче.

На другой день его снова потянуло сюда. Ни в какого бога он, конечно, не верил, но была потребность на что-то надеяться, пусть на самое немыслимое. Тяжело нести тоску, когда кругом счастливые, во много раз легче стоять вот так среди безвольных, слабых...

Теперь Пелышев чаще навещал могилу жены и, глядя на крест, уже не испытывал страшка, потому что мысленно примирился со смертью.

Рядом была могила с большим мраморным памятником, изображавшим не то алтарь, не то кафедру. Ниже фамилии три слова: «Мужу, другу, человеку».

Однажды Пельшев раскладывал листья и вдруг услышал всхлипывания. Еще не посмотрев, кто плачет, он сам почувствовал, как задрожали веки, выпрямился, чтобы уйти, но его остановил виноватый голос:

— Простите... я помешала вам...

— Чего уж... такое место... — пробормотал Пельшев, обернулся и увидел маленькую сгорбленную старушку в пенсне с цепочкой; предложил присесть.

— Нет, нет, я никогда здесь не плачу, — сказала старушка, — а сегодня почему-то... верно, оттого, что день очень хорош.

Нетеплое солнце светило радостно, и в этом свете была видна каждая травинка, даже опавшие листья приобрели живые оттенки. Стволы берез выглядели совсем по-весеннему.

— Утром был, знаете, голубой иней, — сказал Пельшев, — я его руками трогал.

— Голубой, голубой, — подтвердила старушка, — я тоже заметила и подивилась. А на ощупь сухой... — Она рассеянно крутила цепочку с пенсне, потом вопросительно взглянула на Пельшева.

— Восемь лет, — ответил он.

— Совсем недавно.

— А крест... это случайно, — неожиданно для самого себя виновато проговорил Пельшев, — попросила перед смертью, ну и...

С кладбища шли вместе. Алла Григорьевна — так звали старушку — жила недалеко, но за дорогу притомилась, и Пелышев не рискнул отпустить ее одну подниматься на третий этаж.

По сравнению с его полупустой комнатой ее жилище напоминало музей: старинные кресла с резными спинками, рояль, подсвечники, картины и фотографии на стенах, альбомы с медными застежками... Пелышев увлекся разглядыванием и не заметил, как хозяйка успела отдышаться и накрыть на стол.

— Не квартира у вас, а клад, — сказал Пелышев.

— Склад! — весело поправила Алла Григорьевна. — Мы с мужем бездетные были, зарабатывали неплохо, вот и напукпали.

Они долго пили чай, разговаривали о разных пустяках стариковской жизни, и Пелышев на прощанье сказал:

— Неправильно чай завариваете. Я научу.

Выйдя на улицу, он вспомнил о церкви и нахмурился, подумав, что об этом как-нибудь могла узнать Алла Григорьевна.

Засыпал Пелышев с трудом. Самым неприятным в сутках были часы между невольным бдением и сном. Кругом стояла тишина, и он, не напрягаясь, слушал гулкое биение старого сердца. Думалось о церкви и о смерти.

Но сегодня он вспомнил Аллу Григорьевну, вспомнил о том, что кресла нуждаются в ремонте, часы с кукушкой молчат, медные застежки у альбомов отваливаются при первом прикосновении, и — заснул.

Весь день он вспоминал о ней и размышлял, удобно ли будет навестить ее. Вечером Пелышев направился в сквер. Холод схватил землю, лужи покрылись льдом с вмерзшими в него листьями. Больше часа потратил Пелышев, чтобы набрать пучок.

Разложив дома листья на батарее центрального отопления, старик с удовлетворением разглядывал их. Нет, очень хорошо, что жизнь выдалась трудная, полная невзгод. И даже теперешнее одиночество необходимо, чтобы он еще раз пережил прошлые радости.

Аллу Григорьевну он навестил через два дня, когда не смог перебороть очередного приступа тоски.

В черном платье, закутанная в клетчатый плед, Алла Григорьевна сидела на диване и крутила цепочку с пенсне.

Пелышев и сам чувствовал недомогание, но, ухаживая за Аллой Григорьевной, забыл о нем.

Весь вечер он рассказывал ей о листьях, и она удивленно повторяла:

— Вы подумайте...

С каждым днем он засиживался все дольше. С каждым днем он все неохотнее возвращался в свою полупустую комнату.

— Я перестала хворать, — весело проговорила однажды Алла Григорьевна, — и это из-за вас. Представьте себе, просыпаюсь утром больная, но знаю, что вы придете, встаю, и хворь исчезает.

И все-таки она заболела. Пелышев вызвал врача, сходил в аптеку.

К вечеру Алле Григорьевне стало лучше.
Пельшев разобрал часы, смазал детали керосином, и в положенное время кукушка прокуковала.

1958 г.

ЧИСТЫЕ ЗВЕЗДЫ

В таком состоянии лучше молчать. И еще надо — отвернуться в сторону.

— Идемте, — сказал он нам и негромко добавил: — старик, ты совсем расклеился.

— Ничего, — ответила она неуверенно, — пройдет.

— Чудаки, — сказал я, — будто это от меня зависит.

— А от кого же? — спросил он.

— Хватит, а? — попросила она.

— Вы идите... — начал я, и тут она не выдержала, почти крикнула:

— Да хватит...

Мы пошли по тропке вдоль берега.

— Быстрее, — сказал он через несколько шагов, — руки чешутся, спиннинг забросить охота.

— Кто о чем, — сказала она без всякой иронии.

Я сам придумал эту прогулку. Какой-то непонятной, почти загадочной любовью люблю я речушку Ласьву. Местами она проста, как рисунок карандашом, тиха и задумчива. Местами она изощренно нарядна, а иногда сердита и даже сурова. В ней много бродов, но есть омуты и водовороты.

Вот я и бросился к ней за помощью.

— Идемте быстрее, — снова позвал он, но уже виноватым тоном, — мне хочется до темноты побросать спиннинг.

— Мне тоже, — сказала она опять без всякой иронии, помолчала и добавила: — научи меня забрасывать спиннинг. — И через плечо спросила: — А ты умеешь?

— Когда-то пробовал, — ответил я, — но ничего не получилось.

— Чудаки, — громко сказал он, — дело не в рыбе.

— Конечно, конечно, — согласилась она. По моему, опять без иронии.

Кстати, она сдержанный человек, хотя я и не могу разобраться, откуда у нее это — то ли от уверенности в себе, то ли от привычки всегда быть в центре внимания и необходимости следить за каждым своим словом и жестом. Нет, она не хохочет громко, чтобы скрыть желание расплакаться, и только я вижу, как ей трудно, ей, не привыкшей обращаться за утешением. Все беды и боли она умеет перебарывать сама, одна. А внешне она — просто красивая, изящная женщина, достаточно беззаботная, чтобы не выглядеть скучной, и достаточно задумчивая, чтобы не выглядеть пустой. Так и я считал раньше. Так считает и он.

— Скоро придем, — совсем громко сказал он. — Ты не устала?

— Нет, — ответила она и спросила: — А ты?

— Тоже нет, — соврал я, и она сказала, почти скомандовала:

— Привал.

Иногда мне хочется сравнить ее — боже, какое банальное сравнение! — с одинокой птицей, которой очень тоскливо в пустом небе, а на земле — слишком суматошно и шумно. Она действительно очень одинока, хотя, по моему, и не сознает этого. Она долго не задумывалась о жизни. Просто — жила. Привыкла, что в нее часто влюбляются. Даже он привык к этому. Влюблялась ли она сама — не знаю. Существует такой вид дружбы или знакомства, или — даже и не знаю, как это назвать, — когда люди вроде бы дружат, вроде бы нуждаются друг в друге, но многое, очень многое каждый носит сам в себе.

И совсем страшно, когда так — любят.

Ведь прожил же он с ней десять лет, каждую частичку тела ее знает и сколь же мало она отдала, а он — взял! Кого обманули? Друг друга? Или каждый сам себя?

— Господи! — воскликнула она. — Да ведь мы забыли о Яшке!

У меня даже ноги подкосились. Если Яшка приедет на следующем поезде и не застанет нас на станции — действительно господи!

— Ждите меня, — со вздохом сказал он.

— Я бы сбегала, — неуверенно проговорила она, — но ведь вы не отпустите?

— Почему? — вырвалось у меня, когда я подумал о том, как горько быть с ней рядом да еще здесь, на Ласьве, и сидеть, и бросать ветки в речку. И одинаково бояться и того, что она не шелохнется, и того, что положит голову мне на плечо... — Иди, — попросил я ее.

— Валяй, — сказал он, отвернувшись.

Она ушла, а он сказал:

— Ты совсем расклеился, старик. Мне иногда, честное слово, хочется, чтобы уехали вы с ней куда-нибудь...

— Дурак.

Он помолчал и кивнул.

Сделав крутой поворот, Ласьва ударялась в высокий берег, шумела водоворотом, а через несколько метров снова становилась уютной и тихой. Кстати, на Ласьве за пять лет мы поймали не больше десятка окуньков. И для него, рыбака, было жертвой — ходить со мной сюда.

С визгом заскрипела катушка, булькнула блесна.

— Мне легче, — сказал он, — я хоть делом занят.

— Все относительно, — сказал я.

И он опять сказал:

— Ты, старик, совсем расклеился.

— Иди ты к черту, — шепнул я, — и без тебя тошно.

Снова с визгом заскрипела катушка, снова булькнула блесна.

— А ты на меня зря шипишь, — сказал он.

— Конечно, зря.

— Вот, вот. Организуй костер.

— Будет сделано, — ответил я, — только ты не сердись.

Блесна на этот раз не булькнула — упала в кусты на той стороне.

— Из-за тебя, — сказал он, — придется рвать. Когда я вернулся с охапкой сучьев, он улыб-

нулся. И мне стало чуть-чуть легче. Он мой друг, и если блесна для него ценность, я не могу не радоваться вместе с ним.

— Эх! — воскликнул он. — Будь ты человеком, увез бы я тебя на Вишеру... а?

— Все ты врешь, — сказал я, — внушаешь себе и мне, будто бы ничего не случилось.

Он промолчал.

Вскоре вернулась она. За ней переваливался Яша, нагруженный великолепным рюкзаком — обшитым шкурой какого-то зверя, со множеством ремней и пряжек. Это было такое редкое произведение искусства, что даже Яша не ленился таскать его на каждую рыбалку.

— Скажите спасибо, — прохрипел Яша, — что ее подослали. А то бы я вам... — Яша еле дышал да еще дымил сигаретой.

— А не бросить ли тебе курить? — спросил я.

— Тогда меня совсем развезет.

Она стояла над обрывом; не оборачиваясь, спросила:

— А я-то зачем пришла сюда?

— Вот именно, — многозначительно проговорил Яша. — Между прочим, я у супруги выплакал на коньячок. Когда начнем?

— Вы сначала дров запасите, — сказал он.

Она ушла вдоль по берегу.

Яша взял меня за руку и повел в другую сторону.

— Я ей по дороге все высказал, — гордо сообщил Яша. — Была, понимаешь, хорошая компания...

— Смолкни.

— Брось ты это дело! Была хорошая компа-

ния... Ну чего ты в ней нашел? Почему именно она? Ну, красивая... Ну и что?.. Но ведь она жена твоего друга...

— Собственно, а что произошло? — спросил, я, чувствуя, как от напряжения стало больно векам.

— Все же видят!

— Что — все видят?

— Ну... — Яша возмущенно запыхтел. — Чего ты из себя мальчика строишь? Не маленькие! Знаем, чем это кончается!

— Что — это?

— Знаешь... — сквозь зубы проговорил Яша. — Я себя считать дураком не позволю. Не хочешь по-человечески разговаривать, не надо. Но учти: дружба дружбой...

И утопал.

Я пришел в себя оттого, что у меня замерзли ноги. Я стоял в воде почти по колению... Яша прав... Это всегда кончается для кого-нибудь очень плохо. С неиспытанной ранее остротой подумалось мне, что много их, Яш, вокруг...

Когда я вернулся к друзьям, уже стемнело, уже горел костер. Яша уже раскраснелся от выплаканного у супруги коньячка. Он протянул мне стопку и миролюбиво предложил:

— Давай. А эти чудаки отказались.

Ну что ж... выпьем. Твое здоровье, друг. Не сердись на меня. Не я это выдумал. Если что-то случится, значит, это выше твоих и моих сил. И наплевать на всех Яш. Улыбнись. Вот так. Спасибо...

Она вдруг запела. Никогда я раньше не слышал, чтобы она пела. Это была старая фран-

цузская песенка о девушке, которая не дождалась солдата, потому что он прослужил в армии двадцать лет. И вернувшись, он не назвал ее изменницей, хотя сам-то как ушел, так и пришел с той же любовью в душе. Грустная песенка, но французская. И мы довольно бодро пели и даже немного верили, что счастлив тот, кто любит.

Кругом была теплая темнота.

О чем-то бормотала Ласьва. Кто ее знает, мою речушку, может, не мы первые пришли сюда с такой песенкой?

Небо над горизонтом пересекла летящая к земле звезда. Я загадал желание.

Она грустно улыбнулась, словно угадав мою мысль.

— Помяните мое слово, — сказал он, — на утренней зорьке я вытащу для вас грандиозную щуку.

— Суждены нам благие порывы, — пропел Яша.

И я бы соврал, если бы скрыл, что она уснула. Нет, она, свернувшись клубочком, положив голову на колени мужа, крепко спала. И правильно делала.

Вскоре уснул и он.

Яша разлил остатки по стопкам, мы чокнулись.

— За то, чтобы ты поумнел, — сказал Яша.

— Нет, в том смысле я никогда не поумнею.

Яша облизнул толстые губы, задумчиво проговорил:

— Хорро-ош... — и шепотом: — Я одного не

понимаю. Ну найди ты себе какую-нибудь и на здоровье...

Я ему не ответил.

Во-первых, потому, что над нами сияли чистые звезды. И многие из них еще сгорят на пути к земле. И многие наши желания еще исполнятся.

А во-вторых, я видел, что на чудесный Яшин рюкзак упал уголь и рюкзак дымился потихоньку.

Пожалуй, этот факт произведет на Яшу большее впечатление, чем мои слова.

1960 г.

В ЗАТОНЕ

Мутная, с желтоватым оттенком, по характеру еще весенняя, Кама играла нашей лодчонкой, которая вздрагивала, казалось, от движения век.

А в затоне было тихо. Вода здесь неподвижна.

По всему берегу разбросаны невысокие деревянные постройки — мастерские и склады. Там и тут остовы катеров и пароходов, кучи железного хлама, причудливые узоры арматуры.

Печальным памятником своей красоте высится громада знаменитой «Жемчужины». Скоро даже речники забудут, что ходило когда-то по Каме несколько диковинных пароходов, у которых колеса были сзади. «Жемчужина» — последний из них. Отплавался. Он покоится на берегу — без колес, без трубы; обшивка местами сорвана, виден ржавый скелет.

И все же есть в нем что-то гордое, независимое, чем-то выделяется он среди других.

— Рухлядь, — небрежно бросает Пашка, десятилетний сын капитана буксира «Генерал Карбышев».

Над высоким, кручей поднявшимся от воды берегом, за кромкой соснового бора ползут

темно-сизые тучи с белыми полосами — предвестниками града.

С каждой минутой холодеет. Ветер бежит по-над водой. Начинает темнеть, хотя за тучами небо голубо.

Вдруг ветер спал, будто мгновенно спрятался в реку, зарябил ее. А по воде сверху ударил другой ветер — плотный и тяжелый.

Мы причалили.

— Пошли таиться, — сказал Пашка и заскакал по бревнам к берегу. Прыгал он как кузнецик — высоко, с места, без разбега.

Я, поскользываясь, торопился за ним. Со всех сторон одновременно — ударил гром, со всех сторон сверкнули молнии. В спину нас толкнул ветер.

Мы подбежали к дощатому домику. Не успел я прикрыть дверь, как она сама ударила меня по пяткам. Глухо звякнули стекла.

В небольшой, конторского типа комнатке с продолговатым решетчатым окном было темно.

Дождь хлестал вместе с градом.

— В двадцать седьмом мужик мой утонул, — услышал я глубокий певучий голос, — вот до чего дурной человек был, несознательный. Даже и помереть-то не мог, а потонул.

Вглядевшись, я увидел высокую могучую старуху. Она стояла у окна, сложив руки на груди.

К ней подскочил старик в мешковатой брезентовой тужурке, возмущенно проговорил:

— Знаем, знаем! Зазнобила ведь ты его... Э-эх! Так что не притворяйся.

— Зазнобила, — равнодушно согласилась старуха, — было дело. Но мужик он шибко дурной был. Не лучше тебя. Такой же...

— Ты, Карповна, ровно судья-прокурор! — старик топнул. — Чего всех учишь? А сама? Жизнь у тебя перевернутая, неладная...

— Хватит, Вавилыч, — остановил его неслышно подошедший мужчина в клетчатой рубашке.

— Тебя, Суслов, не спрашивают! — крикнул старик. — У нас с ней давнишнее. Должон я ее переспорить!

Гром со звоном и скрежетом прокатился по крыше. Вслед на нее обрушился новый порыв ветра, град, ливень. Послышался сухой треск. Вспыхнул сноп искр.

— Работы-то алектрикам. — Карповна вздохнула. — Сколь проводов-то пооборвет... Позапрошлый год меня в грозу столбом чуть не изувечило.

— Это судьба тебя наказывает, — сквозь зубы процедил Вавилыч. — Больно умной себя показываешь.

Пашка потянул меня за рукав, шепнул:

— Они всегда так.

Большая кепка то и дело закрывала ему лоб, он отбрасывал ее на затылок привычным ударом указательного пальца по козырьку.

В углу сидел парень, одетый в тельняшку с отрезанными выше локтей рукавами. Глаза его настороженно блестели.

— Прошное лето я к сыну ездил, — с гордостью начал рассказывать Вавилыч. — В Кунгур. Встретили меня... — э-э! Костюм подарили,

портсигар с узорами, валенки чесаные. А у тебя...

Суслов позвал:

— Подь сюда, Вавилыч.

— А чего это я к тебе пойду? — моментально рассвирепел старик. — Подь сюда! Подь сюда! — передразнил он и тут же подошел. — Чего надо?

Что ему говорил Суслов, я не слышал.

— В кино я вчера была, — тихо сказала Карповна, — и уж поплакала вдоволь, досыта. Уж такую душевную картину показывали. И одного я не поняла: за что же паренька-то хорошего идиотом прозвали?

Вырвавшись из рук Суслова, Вавилыч подскочил к ней и торопливо выкрикнул:

— И не поймешь!

Парень в тельняшке рывком встал, подошел к старику и, размахивая руками, замычал.

— Глухонемой, — шепнул мне Пашка.

Старуха сказала парню, старательно выговаривая каждое слово:

— Сиди, Витюша, сиди.

Погрозив Вавилычу кулаком, Витюша ушел на свое место.

Карповна спросила:

— Кипяточку, люди добрые, не желаете?

И хотя все промолчали, она вытащила из печки огромный закопченный чайник, достала с полки посуду, консервную банку с мелко наколотым сахаром.

Вавилыч рассказывал мне на ухо:

— Муж-от ее, Евдоким, к Катьке Сухоруковой ходил. И родила она ему этого вот Ви-

тюшку. Э-эх, пересудов-то, перетолков-то было! — восхищенно воскликнул он. — А, верь не верь, Евдоким выпьет пол-литра для согрева и в конце мая Каму за милую душу переплывал. Бултых и — айда!.. Ну, единова бултых да и не выплыл. Поймали его через три дни. А Катька, Сухорукова-то, она, по-нынешнему если, стилига была. Фуры-муры. Она орать: обманул, дескать, меня Евдоким! Сам потонул, а мне, молодой, интересной, с Витюшкой мучаться!.. Тогда Карповна Витюшку к себе затребовала, сказала: «Мой грех, мне и ответ держать». Люди спрашивали: «Какой же это твой грех?» А Карповна: «Муж-то мой был. Вот я за него и должна отвечать. За все его мероприятия». Любила она его, — удивленно шептал Вавилыч. — Непонятно любила.

— Все выболтал? — не глядя на него, спросила Карповна спокойно. — Теперь про себя расскажи, клоун.

— А что? — боязливо и вместе с тем вызывающе вскрикнул старик. — Что? Дело предлагал. Послушалась бы тогда меня, жила бы сейчас как люди живут.

— Живу я хорошо, — убежденно проговорила Карповна, — вроде бы отдыхаю. Сторожиха — какая это работа? Да и сна у меня все одно нету... А звал он меня тогда, — Карповна грустно усмехнулась, — бежать с ним в Сарapul... Пейте, люди добрые. За угощение извиняйте: чем богаты... Все горе, како мне выпало, сама несла. Никого своим горем не задела.

— Вот и нету у тебя счастья! — голос Вавилыча жалобно дрогнул. — Нету ведь!
За окном полыхнуло. В бледном свете молнии я увидел лицо Карповны. Крупное, с большим, не тронутым морщинами лбом, оно дышало ласковостью и в то же время суровостью.

— Ох грозы, грозы... — выдохнула она. — Сколь я их насмотрелась и уж не боюсь... Как у вас дома, Пашок?

— По-старому, — ответил Пашка.

— Живут, хлеб жуют, — насмешливо добавил Вавилыч. — Капитанское дело известное. Недовыполнили — выпить надо, выполнили — полагается выпить, перевыполнили — грех не выпить. Зимой пьют, чтоб не рассохнуться.

— А ты капитаном не был, так не знаешь, — равнодушно сказал Пашка. — Они, может, сейчас у моста с плотом воюют. Ты хоть раз плот через мост в грозу протаскивал?

— Отец у тебя, Пашок, сознательный человек, — задумчиво произнесла Карповна. — А насчет выпить... я тут с ним толковала, когда он в затоне ремонтировался... Нога у Танюшки больше не болит?

— Вылечили, — Пашка улыбнулся, — вчера к продмагу одна убежала.

— Детей производить еще не разучились, — озабоченно проговорил Вавилыч, — а вот воспитывать... это вопрос ребром. Уж такие фрукты растут! Парни еще ничего, а девки... — он сплюнул. — И не смотрел бы. Прости меня грешного, всяко место наружу...

— А тебе что? — перебила Карповна. — Всем-то ты недоволен, хоть и портсигар имеешь с

узорами. У меня вот нету портсигара, а... — Она улыбнулась почти виновато. — И на молодых я не сержусь. У них свои заботы... Бабья доля не светлая, вдовья доля несладкая, старушья доля невеселая, а жить можно. Иной раз, правда, тянет богу помолиться, да не верю я богу-то.

— Ой, врешь! — пронзительно крикнул Вавилыч. — В ту субботу в церкви тебя видели!

— Была по старой памяти. И свечку купила. Да никому не поставила. Некому. Смотрю на икону и вижу: человек. А его, вишь, святым сделали, — словно сама удивляясь своим мыслям, говорила Карповна. — Был, значит, человек, мучился, работал, выпивал, может, а тут — икона, свечки... Я так считаю, — громко продолжала она, — если за муки и праведность к лику святых причислять, то много нас, святых, по земле еще ходит. Вот и не верю я господу.

Гром бухнул у самой стены. Вавилыч мелко перекрестился.

Карповна рассмеялась.

— И ты ведь, старый, не веришь. А деньги на свечки держишь. Ну, убежала бы я с тобой в Сарапул. А Дарья твоя? Она бы мучилась. Так уж лучше я... Не подогреть чайничек?

Витюша напильником точил лопату, изредка взглядывая на Вавилыча, толстенькое лицо которого светлым пятном выделялось на темном фоне стены. Суслов смотрел в окно. Карповна мыла посуду.

— Да-а, — многозначительно протянул Вавилыч, — дела как сажа бела...

Суслов резко обернулся, и сквозь шум затишающей грозы Вавилыч визгливым голосом крикнул:

— Чужой-то радостью сыт не будешь!

Никто ему не ответил.

За окном внезапно стихло.

— Всегда так, — удивленно сказала Карповна, — пройдет и будто бы не было. Айда порядок наводить.

Мы вышли на крыльцо. Воздух был пронзительно свеж. Под жаркими лучами солнца земля сверкала яркими красками. Омытые бревна лоснились. Пели невидимые птицы.

Со стороны Камы прилетел пароходный гудок.

— По-ря-док, — старательно шевеля губами, выговорил Витюша.

1959 г.

ЗАВАРУХА

Иногда желание полюбить становилось таким острым и необоримым, что я с отвращением думал: а вдруг это обыкновенное физическое влечение? Ведь почти все женщины казались мне одинаково красивыми и желанными.

Я был на практике в поисковой партии. Геологи — сумрачные и раздраженные оттого, что их не посылают на фронт, — не разговаривали не только со мной, но и друг с другом. Худые, небритые, сосредоточенные на одной мысли, они спасались в работе: за день мы проходили не меньше сорока километров.

Поздними вечерами, наполнив желудки в основном водой, мы лежали в избе, вытянув натруженные ноги, дымили самокрутками и слушали тоскливые девичьи песни, невеселый женский смех за окнами. Мы были единственными мужчинами в деревнях, через которые вел маршрут нашей партии.

Женщины звали нас песнями и смехом — без надежды, и, верно, сами бы удивились, если бы кто-нибудь из нас ответил на их зов.

Очень часто голод побеждал все остальные ощущения. Было одно желание — не просто поесть, а набить себя пищей.

Мы с мамой жили очень тяжело. Утром я вы-

ходил на кухню, а мама прятала хлеб. Когда приступы голода были особенно сильными, я искал спрятанный паек. Но ни разу не нашел его. (Только после войны мама рассказала, что подвешивала хлеб на окне, за шторой).

Однажды, вернувшись из маршрута, я увидел на крыльце нашей избы девушку — такую, какими кажутся все девушки в юности — легкую и светлую. Это была Леля Соколова, со второго курса. В техникуме мы только здоровались.

Здесь же, когда пришлось делить радости и невзгоды трудной геологической жизни, мы быстро подружились. Было в ее отношении ко мне что-то материнское. Сердце сжималось от счастья и сладкого стыда, когда она делила еду на две неравные части.

Ее мать работала в продовольственном магазине, и из города Леля привозила полный рюкзак снеди. И я краснел не от жара костра, на котором в котелке бурлил наш вкусный ужин...

— Все равно на всех не хватит, — успокаивала меня Леля, и я перестал краснеть.

День ото дня, а может, час от часу мы все чаще встречались глазами.

Как-то ночь застала нас в лесу. Я разжег огонь. В его отсветах Лелино лицо казалось бледным. Мне было весело и жутко сознавать, что мы в опасности, что кругом зловещий лес, наполненный таинственными шорохами. Страшнее, но и желаннее их была тишина. Когда она внезапно и ненадолго наступала, нервы в ожидании чего-то натягивались. Стоило протянуть

руку в сторону, и ее схватывал сырой холод.

Костер дышал тепло и ровно. У меня чуть кружилась голова — от голода и необыкновенного ощущения близости...

А до утра было далеко.

— Холодно, — сказала Леля.

— Ничего, — ответил я, — не бойся.

— Я не боюсь.

Временами на меня наваливалась дрема, и я словно опускался куда-то...

— Иди ко мне, — услышал я, — холодно.

Под моей рукой билось ее сердце. Она ничего не говорила, не двигалась.

Только когда начало светать, она спросила с сожалением:

— Пойдем, да?

Мы шли быстро, будто бежали от уже содеянного греха.

Несколько дней Леля казалась мне чужой — так бывает после первого обнаружения близости. И, конечно, же, я верил, что самой судьбой мы созданы друг для друга.

Никто не замечал наших отношений. Для геологов мы были просто практикантами, нам давали задания, учили работать и — все.

Нас стали посылать в самостоятельные маршруты. Это значит: рано утром мы уходили в путь и до вечера были вдвоем.

Едва мы сворачивали с дороги в лес или поле, Леля радостно вздыхала и снимала платье. Была она доверчива и совершенно не считалась с тем, что я, так сказать, мужчина, а она женщина; спокойно шагала впереди. Сильная

и гибкая, с гладкой смугловатой кожей, она — среди лугов, цветов и солнечных лучей — словно вместе с платьем снимала с себя будничность и обыкновенность, все, что может вызвать земные желания.

А я с каждым днем все чаще и чаще ловил себя на мысли, что рано или поздно кровь ударит мне в голову. Думалось об этом чисто и откровенно.

Но Леля ничего не замечала.

Сидели мы однажды в тени, утомленные походом. Неожиданно для себя я спросил:

— А если не сдержимся?

Она покраснела, подтянула колени к подбородку и, помолчав, ответила:

— Не знаю... А почему ты спросил? — Леля нахмурилась, взгляд ее стал испуганным. — Разве можно об этом думать? Да как тебе это в голову пришло? — Голос ее звучал недоуменно, а выражение лица приняло суровый оттенок. — Как тебе не стыдно?

Удивительно, но мне не было стыдно. Не было стыдно даже за то, что не стыдно. Я любил, я был уверен в своем чувстве, не боялся его, не боялся за него. И еще я убедился, что сильнее любви нет ничего на свете.

Когда двинулись в дорогу, я сказал:

— Я ведь не хотел тебя обидеть.

Она улыбнулась, и в улыбке проскользнула грусть. Я шел следом и думал, что ведь Леля испытывает то же самое, что и я.

Тропинка, по которой мы шли, вела вдоль глубокого, с крутыми, почти отвесными склонами оврага, называемого почему-то Волчьим. По

дну его были ямы, края которых заросли крапивой и малиной. О глубине ям никто не знал. Местные жители предпочитали обходить овраг стороной.

И мне в голову пришла отчаянная мысль: свалиться бы туда, изувечиться и сказать Леле:

— Это из-за тебя!

И не успел я подумать, как земля под моими ногами обвалилась и я поехал вниз на куске дерна. В первый момент я ооченел от страха. Но вот движение остановилось. В трех-четыре метрах от меня — черный зев ямы. Ухватиться не за что. Я боялся открыть рот, боялся повернуть голову. Боялся дышать. Даже думать боялся. Ведь пошевелись подо мной хоть одна песчинка, и я полечу в яму.

— Я сейчас... — раздался испуганный Лелин голос.

Вверху что-то зашелестело, затрещало, а Леля говорила:

— Сейчас, сейчас...

Над моей головой показались ветки молодой березки, и я вцепился в них и — полетел вниз. Ладони ожгло.

Я удержался — лег на склоне. Но стоило подтянуть ногу, как она тут же скользила по песку назад.

Руки напряглись до того, что заломило в локтевых сгибах. Вдруг я ощутил, что меня тянет вверх, и стал осторожно помогать ногами. Руки онемели; казалось, их вот-вот сведет судорогой.

И когда я вполз на тропинку, на твердую землю, то лишь тогда испугался — до озноба.

Леля лежала рядом на спине. Грудь ее тяжело и коротко вздымалась. Тело блестело от пота. Не знаю, сколько мы так пролежали. Закрыв глаза, я целовал Лелю, вернее, просто благодарно прикасался к ней губами.

Всю дорогу мы молчали.

Я думал, как приведу Лелю к нам домой, познакомлю с мамой, покажу любимые книги, те, которые мы еще не проели...

В избе никого не было. Записка сообщала, что завтра геологи уходят в далекий маршрут, поэтому сегодня ночуют в соседней деревне. А нас они просили сегодня же принести им, уж не помню какой, инструмент. Вернись мы домой вовремя, поручение бы не смутило меня. Но сейчас я к тому же едва стоял на ногах, у нас не было ни крошки хлеба.

Я лежал на лавке и чуть не плакал от бессилия.

— Пойду я, — сказала Леля. — Ты плохо себя чувствуешь. — И не успел я возразить, как она обняла меня и зашептала: — Ну, разреши мне, ну, отпусти... Утром обратно прибегу.

Она так и сказала «прибегу», хотя до соседней деревни было больше пяти километров.

— А может, и сегодня вернусь, — задумчиво добавила Леля. — Сегодня... понимаешь? Конечно, сегодня! Ведь мы можем быть одни... я и ты... и никого...

— Нет, нет, — бормотал я, удерживая ее.

— Разреши... отпусти... ну, мне хочется... для тебя... мне приятно...

Она ушла. Я понял: ей хочется совершить что-то очень трудное.

Для меня.

Я лежал в сумерках. В теле было столько слабости, что больно было шевелиться. Верил я, что Леля вернется сегодня, потому что я люблю ее, потому что она меня любит. Она вернется для того, чтобы больше уже не расставаться... Навсегда, на всю жизнь.

...А дорога петляет полем, потом — лес. Там темнота. И сквозь темноту ко мне идет Леля. Моя Леля... Я то казался себе ничтожеством, потому что не я ей, а она мне доказывала силу любви, то, наоборот, готов был торжествовать.

Радость, гордость, сладкая и острая тревога ожидания... Больше ни разу в жизни я не испытал такого.

Я поднялся, вытащил из рюкзака свое единственное сокровище — мыло. Мама просила привезти его домой.

А я обменял мыло в соседней избе на несколько стаканов муки и кусочек топленого масла. Знаете, что это такое?

Это мечта. Заваруха!

Большой котелок заварухи — муки, обваренной кипятком. Если есть ее с маслом... Я глотал слюни, внутренности словно склеились, и чтобы хоть как-то обмануть себя, я выпил воды много-много... Лежал на лавке, борясь с головокружением. Лежал долго. Временами приходилось впиваться пальцами в края лавки, чтобы не броситься к котелку.

Но я верил, что Леля придет, а ее ждет сказочный подарок — заваруха. Не подарок, а — дар.

Вцепившись руками в лавку, будто вдавившись в нее, я мысленно ел муку, запивая ее водой.

Внезапно я почувствовал, что Леля недалеко, бросился к печке, чиркнул спичкой, и сухие щепки под таганцом вспыхнули. Я приплясывал от нетерпения. Иногда мне даже слышалось Лелино дыхание.

И где тут разобрать, от чего кружилась голова — от голода или от любви. Помню только, что я обеими руками оперся о печь, чтобы не упасть.

Оглянулся — Леля стояла на пороге, сзади освещенная луной. Вокруг головы тонкий венчик сияния. Лунный свет мягко, но отчетливо нарисовал каждую линию тела.

А на полу дергалась моя изломанная тень. Подплясывало пламя, и тень подплясывала.

Мы обнялись.

Тут я понял, как страшно было Леле идти, как она любит меня.

И чтобы доказать, что я люблю ее несколько не меньше, я поставил на стол котелок с дымящейся заварухой.

До сих пор помню его. Мятый, закопченный... Из него валил пар с пронзительным запахом съестного...

— Что это? — брезгливо спросила Леля.

Мне показалось, что я ослышался.

— Ешь, — не сказал, а приказал я.

— Ешь? — недоуменно и обиженно переспросила Леля. — Эту гадость? Я достала картошки. — И рюкзаком отодвинула от себя котелок.

Котелок упал на пол.

Лунный свет безжалостно освещал горькую картину — дымящаяся заваруха расплылась по полу, стекая в щели.

Преодолевая тошноту и головокружение, я широко расставил ноги, чтобы не пошатнуться. Правая рука набухла. Но я не ударил Лелю по презрительно искривленным губам.

— Ты что? — испуганно прошептала она. — Это же ерунда... — Она обняла меня, прижалась и зашептала: — Люблю... очень... навсегда...

Оттолкнуть ее у меня не было сил. Я опустился на пол. Есть я уже не хотел. Но я не имел права позволить погибнуть заварухе.

Леля села рядом. Она гладила меня по голове и что-то говорила.

А я ел, заставляя себя есть заваруху.

И жалел, что мама далеко...

1959 г.



ТЕТРАДЬ
ШЕСТАЯ



СТАРИК И ЕГО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Алексю Решетову

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков, — совсем невесело проговорил старик, наливая в рюмку глоток коньяку, а в чашку — холодного кофе. — Все в жизни надо по возможности делать наоборот, — грустно сострил он, по рассеянности выпив кофе и запив его коньяком. — Не мешайте, мадемуазель, — хмуро сказал он громкой черной мухе, а бесшумной белой бабочке он сказал: — Я вас приветствую, мадам.

И хотя на самом деле муху следовало бы назвать мадам, а бабочку — мадемуазель, старик, ссылаясь на свой возраст, считал для себя необязательным вдаваться в такие несущественные подробности. Да и просто ему было обидно, что муха хозяйничала на столе, а бабочка брезгливо пролетела мимо.

— Нельзя курить на голодный желудок, — мрачно сказал он, — это очень вредно. — И раскурил трубку, лениво успокаивая себя тем, что если дымил всю ночь, то вроде бы даже обязан встретить восход солнца глубочайшей затяжкой.

...Эх, он ведь был стар, как дом, где он жил.

А дом за свою долгую жизнь высох, как старик, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты. И когда ночью, в тишине, налетал ветер, дом наполнялся звуками, которые воображение старика легко соединяло в любые мелодии, — от нежных до тревожных. Днем же никаких мелодий не получалось, дом поскрипывал, повизгивал, побряхтывал самым обыкновенным образом.

Вокруг стоял вековой бор. Сосны неумолчно шумели — глухо роптали кроны, коротко постанывали стволы. Гигантские корни в непрестанном напряжении, будто скрюченные ревматизмом великаны пальцы, держали крутой песчаный берег.

Противоположный берег был пологим, и в безлунные ночи представлялось, что Кама разлилась до бесконечности...

Неподалеку существовала танцплощадка — хилое деревянное сооруженьеце. Оттуда ветер приносил обрывки музыки: духовой оркестр старательно выдувал чистые старинные вальсы попеременно с подпрыгивающими, разорванными ритмами.

Старик сердился на танцплощадку — она мешала вслушиваться в музыку бора, в его нескончаемую песнь...

Длинными для него ночами старик внимал бору и думал.

Он страдал бессонницей и воспринимал ее уже не как болезнь, а как давнишнего врага, коварного и беспощадного. Ведь самый опасный

враг тот, кого когда-то, считая другом, близко подпустил к себе, который знает все твои уязвимые места.

Когда-то бессонница и была старику, — тогда он еще не был стариком, — была другом, он звал ее на помощь, и она помогала ему работать.

И, конечно же, он и не заметил, как из друга она стала врагом.

Старик не сдавался ей, но и победить не мог. У них была многолетняя ничья. Ноль — ноль. Засыпал старик под утро, просыпался через несколько часов, наугад капал в стакан из какого-нибудь пузырька, неестественно бодро крякал и внушал себе, что абсолютно здоров.

И правда: днем он обычно забывал о недомоганиях, но панически боялся наступления вечера, уже заранее готовясь к изнурительному выжиданию сна.

Хотел он этого или не хотел, а вечером старик начинал подводить итоги прожитого дня, — вот и не спалось: опять, казалось, мало сделал, опять не успел...

Бессонница выматывала еще и тем, что вынуждала вспоминать — не особенно приятное занятие, когда она не признак молодых нерастраченных сил, а следствие усталости. Да к тому же иногда по сердцу тупо бороздило ощущение тщетности... А о чем, собственно, жалеть? Всю жизнь у него была любимая работа. Сначала он учился строить города, потом строил города, потом учил строить города... Его не будет на земле, а они останутся — и города,

и ёго учѣники, а потѣм — города учеников, потѣм — ученики учеников...

Ночью, без сна, человек откровенен сам с собой до конца. Размышляя, он как бы снимает с жизни все условности, называет вещи своими именами, ум немного уступает сердцу, и многое становится ясным. Поражаешься простоте и мудрости пришедших в голову решений. Но ближе к рассвету они кажутся в лучшем случае наивными, и снова — тревожно...

А тут еще о чем-то рокошет бор... И даже старый дом, если вслушаться, о чем-то напоминает своими песнями...

«Я совсем, совсем старею, — думал старик, — жалко».

Нет, не старость сама по себе пугала его. Он не воспринимал ее, как нечто, обязательно связанное только с нездоровьем, угасанием сил и невозможностью ничего исправить. Наоборот, он предчувствовал, что иногда именно в старости приходит награда за то, что не успел получить в молодости.

Да и что такое старость?

Если ее понимать лишь как вынужденную необходимость коротать оставшиеся дни и тщетно пытаться любой ценой не выбыть из строя, тогда старость — серьезное наказание.

Он верил в другую старость. Пусть она будет телесным недомоганием, но зато принесет с собой ясность ума и чувств, беспристрастную оценку пройденных дорог, и — учтя победы и поражения — он еще сделает бросок вперед. Обязательно сделает.

И кто знает, может быть, вся жизнь и окажется подготовкой к этому броску?

«Ты хитрюга, — говорил он сам себе. — Ты уже практически старик, так что брось подобру-поздорову теоретические исследования на тему о старости».

И как же случилось, что он утром вместо капель выпил глоток коньяку, покурил на голодный желудок и — еще несколько глотков?

Старик усмехнулся: все понятно. Так случилось потому, что вчера он встретил свою самую большую любовь, с которой не виделся черт его знает сколько лет.

Увидев ее, старик крикнул:

— Ты! — и небрежно пожал ей руку. — Ты можешь не попадаться мне на глаза?

— Изменись хоть немного! — смеясь, воскликнула она. — Нельзя же всю жизнь быть одинаковым. Просто удивительно, как я ухитряюсь любить человека с таким отвратительным характером.

— Я могу уйти, — гордо проговорил старик.

— Можешь, — весело согласилась она, — потому что знаешь: я побегу за тобой. Как всегда — я...

— Скажи! — оборвал старик и больно схватил ее за руку. — Ты действительно любила меня? Да?

— Глупый, — она с сожалением вздохнула и отвернулась. — Ни разу в жизни я не произносила слова «любить» в прошедшем времени. — Ну, это ты врешь, — с надеждой выговорил старик. — Так не бывает.

— Ты прекрасно знаешь, что я никогда не

лгала тебе. А ты никогда не хотел верить мне. Старик поперхнулся от возмущения и обиды, но его самая большая любовь сказала:

— Когда ты не прав, тебя так и тянет со мной поссориться. Но это удалось тебе только раз.

— Ты стала болтливой, — проворчал старик.

— Конечно. Раньше у меня были зоркие глаза, чтобы глядеть на тебя. Были сильные руки, чтобы обнимать тебя. Раньше у меня были сильные ноги, чтобы спешить к тебе...

— Надеюсь, ты не будешь продолжать этот перечень частей тела? — грубо спросил старик, потому что сейчас ему было необходимо расплакаться.

— Я и до сих пор думаю, как бы я прожила жизнь, если бы не встретила тебя.

— Да хватит, — жалобно попросил старик, шмыгнув носом. — Не смей меня.

— Если бы я не встретила тебя, — продолжала она, — до чего же тускло я прожила бы! Даже подумать страшно.

— Врешь, так не бывает! — И старик вцепился зубами в трубку.

— Как ты изводил меня! — восторженно воскликнула его самая большая любовь. — Сколько я слез выплакала из-за тебя!

— Сто ведер. Эмалированных.

— Не меньше.

Она стояла перед ним, маленькая, высохшая, в больших круглых очках, в каких-то детских тапочках. Старик сказал с невольным вздохом:

— Кто бы сейчас поверил, что когда-то ты... —

Он опять погрыз мундштук.

— Ты веришь, и мне этого достаточно.

Старик задумчиво покачал головой. Сгорбившись, он смотрел на свою самую большую любовь сверху вниз, долго смотрел, спросил: — Значит, ни о чем не жалеешь?

— Не знаю. Скорее всего, нет.

«А я? — думал старик, бродя ночью по берегу. — А я жалею?»

Ноги словно сами собой обходили в темноте узлы корней, перешагивали через вросшие в песок пароходные цепи.

Река всегда успокаивала его. Если он приходил к ней растерянный или отчаявшийся, то смотрел на воду до тех пор, пока поток чувств и мыслей не становился плавным, как течение реки.

И даже зимой она оставалась для старика живым существом, страсти которого скрыты и ждут времени, чтобы прорваться.

Но вчера она оказалась — впервые — бессильной. После встречи со своей самой большой любовью старик не мог успокоиться.

Он вернулся домой, сел на балкончике.

У него было такое состояние — то ли он что-то потерял, то ли вот-вот найдет что-то.

Давно смолкла танцплощадка. Он слушал песнь бора. Монотонная, похожая на морской прибой, она напоминала о чем-то вечном...

Стало прохладно, и старик шагнул в комнату, сел и зажег настольную лампу, и увидел свою тень на стене.

«Старики часто бывают похожи на сердито нахохлившихся или задумавшихся птиц, — пришло в голову. — Птица — символ свободы, молодости, устремления вверх, в беспредель-

ность и — старость? — Он пожал плечами, а его тень как бы пошевелила сложенными крыльями. — При чем птицы чаще гибнут, чем стареют... И все-таки старики часто бывают похожи на птиц, — упрямо думал он, — на птиц! Усталых, не способных к полету, но ведь — летали когда-то? Иначе откуда быть сходству?»

Старик встал и раскрыл окно, чтобы лучше слышать бор.

Комната была большой, но столь нелепо загромождена вещами, что свободного пространства почти не осталось. Радиоприемник на низкой подставке оказался почему-то на самой середине комнаты, кровать почему-то была далеко отодвинута от стены. Книжные полки наклонились и грозили рухнуть.

Сюда старик приехал лет десять назад, когда захотелось тишины, и как в суматохе переезда расставили вещи, так они и стояли до сих пор.

На столе лежала рукопись его последней книги. Старик был уверен, что успеет ее закончить, и она получится именно такой, какой он мечтает ее увидеть. В ней он расскажет все, что узнал за свою жизнь о науке строить города. Может быть, ради этой книги он и жил, а все остальное — так, сопутствовало...

Жил он один.

Одиночества он не боялся, да и сюда, в пригород, друзья наведывались куда чаще, чем раньше на городскую квартиру. Они приезжали неожиданно, возбужденные недолгой свободой от жен и внучат, шумные, веселые; до-

ставали бутылки с вином и скляночки с вали-
долем, рассаживались кто где и начинали раз-
говоры.

Случалось, что и пели.

А под конец почти всегда ссорились: видно,
молодели, вырвавшись из круга привычных,
но старящих забот, горячились...

А вчера старики расхвастались. У них, оказы-
вается, у каждого была в жизни большая лю-
бовь, да такая, что — давайте-ка выпьем!

Эх... были когда-то и мы этими самими... как
их?

У каждого и — большая... Ах, какие это были
любви! Беззаветные, самоотверженные, доб-
рые, готовые на любую жертву... И если не
выскакивала на дряблые щеки слеза, то лишь
потому, что есть еще порох в пороховни-
цах!

Эх, какие они были, эти любви....

Старики пели с молодой удалью и отчаянием,
разбросав галстуки и пиджаки по всей комна-
те, стиснув друг друга за плечи... хрустели под
ногами запонки... И пояись здесь нынешние
девушки, они бы погоревали, что родились
поздно, что настоящие-то парни — вот они...

Да-а, были когда-то и мы!

Тут старик и придумал историю о своей самой
большой любви и о недавней встрече с ней.
Сочинял он с такой верой, убежденностью и
потребностью, с какой зовут на помощь в
трудные минуты жизни.

Начав сочинять, он еще сдерживался, чтобы
рассказ его выглядел наподобие тех, которые
он слышал от друзей, но увлекся и...

И она сказала, когда уже собрались прощаться:

— Напиши мне хоть одно письмо. Несколько строчек, и я буду носить их у сердца.

— У старого сердца, — проворчал он. — Ты стара для лирики. Тем более я. И вообще...

— Ты просто не можешь простить себе своей главной ошибки, — мягко перебила она. — Злишься, что слишком поздно понял, что одна я любила тебя по-настоящему.

— Я слишком поздно понял! — воскликнул старик, и трубка выпала на землю. Он, кряхтя, нагнулся за ней, вытер полый пиджака мундштук и закусил его. — А ты не могла подождать? — поневоле сквозь зубы спросил он. — Ты могла не высказывать замуж, сломя голову?

— Я женщина, — тихо и виновато объяснила она, — представительница так называемого слабого пола. А мы прощаем мужчинам все, кроме того, когда они не считают нас женщинами.

...Сочиняя все это, старик боялся, что ему не поверят. Но случилось нечто, более неприятное: ему поверили. И тогда ему стало стыдно. Но останавливаться было уже нельзя, да он и не мог, — и продолжал.

— Ты знаешь, — сказала она, — иногда судьбу решают десятки лет, иногда — годы, а иногда, особенно у женщин, и мгновения. Ты не уловил мгновения, которое решило твою и мою судьбу. И я знаю, почему ты поступил так. Мужчины настороженно и недоверчиво относятся к тому, что их любят сильно. Боятся.

Потому что встреча с такой любовью требует, чтобы человек стал лучше. И вот ей, этой любви, назначают испытание за испытанием: она ведь все должна выдержать, раз она сильная.

— Здорово ты научилась философствовать,— как можно насмешливее постарался сказать старик. — Сильная любовь, — почти продекламировал он, — зависит от мгновения... Так?

— Всего-навсего. Сколько я прощала тебе, помнишь? А ты придумывал и придумывал новые испытания. — Она посмотрела на него с сожалением. — Ты боялся моей любви, потому что она была во много раз сильнее твоей. Тебе было стыдно, что ты не можешь полюбить, как я.

— Неправда, — попросил старик.

— Правда, — ласково возразила она. — Ты долго боролся сам с собой, самому себе доказывая, что ты — конечно, счастье для меня, а вот я для тебя... Хоть бы оттолкнул меня, что ли! — Она даже прикоснулась к его руке, словно все это происходило не много лет назад, а сейчас. — Нет, не оттолкнул. И не звал. Я всегда приходила сама. И вдруг я устала, — виновато призналась она, но в голосе проскользнули нотки горького сожаления. — Я бы все выдержала, но... устала. Вдруг. На какое-то маленькое мгновение мне потребовалось хоть одно доказательство твоей любви, чтобы передохнуть, набраться сил, и именно в это маленькое мгновение... — она закусил губу, — ты и был занят вышеупомянутой борьбой. И я ушла. Сразу. И навсегда.

— Жалеешь? — только и мог спросить старик.

— Я не хотела этого, — не слыша его, продолжала она, — но отомстила тебе. Отомстила, — устало повторила она. — Тебе казалось, что ты легко забыл меня, а пронес меня через всю свою жизнь. Забытая, я владела тобой, с кем бы ты ни был. И они, с кем ты бывал, чувствовали, что я рядом, что ты не весь принадлежишь им. Тебе казалось, что ты сам уходишь от женщины, потому что разлюбил ее, а ты никогда и не любил ее, а это я уводила тебя. Я не разрешала тебе никого полюбить так, как я любила тебя...

— Ладно, — одними губами выговорил старик, — пусть... Но... неужели у тебя не появлялось... как это?... желания напомнить о себе?

— А зачем? Стоило мне вернуться к тебе, и все началось бы сначала. Но я боялась не этого. Дело в том, что я, которая ушла от тебя, я ушла вообще, меня больше не существовало. Была уже другая я. Иногда я даже завидовала самой себе: бывают же счастливые люди — которые умеют любить. И как! Мне это счастье выпало только один раз в жизни...

...Старик замолчал.

Молчали старики.

— Дурак, — сказал один из них, самый старей, — вопиющий дурак.

Никто ему не возразил.

Каждый взял стакан и выпил за здоровье своей самой большой любви, потому что каждый перед ней был хоть немного, да виноват.

И в тот вечер старики впервые долго сидели молча, слушали песнь бора, морщились от звуков танцплощадки и ожесточенно дымили, даже те, кто давно бросил курить.

— Дурак, — повторил самый старый старик.

А когда ветер перемешал песнь бора со звуками танцплощадки, засобирались домой.

Старик проводил их до пристани, помахал шляпой, долго стоял, словно что-то потерявший, а потом бродил по берегу.

Плохо было старику.

До того плохо, что даже река не утешила его.

Для чего он придумал ту, которой не было?

Он тяжело поднялся по скрипучей лестнице к себе на второй этаж, долго сидел на балкончике, потом ушел в комнату.

Тревожно и мудро пел бор. И старый дом, как бы подхватывая эту песнь, был наполнен грустными короткими мелодиями. Ведь за свою долгую жизнь он высох, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты.

Старик сидел, забыв о бессоннице.

То есть как это — не было большой любви?

Была когда-то, но — когда?

Позвольте, позвольте... Жену он любил, конечно, это он точно помнит. Жили как люди живут, только вот детей не было. Восемнадцать лет длилась эта история. И восемнадцать лет жена упрекала его в том, что он ее плохо любит. Каждым взглядом своим, каждой ноткой голоса упрекала... И он всегда чув-

ствовал себя виноватым перед ней. Когда же она умерла, он лишний раз понял, что все-таки любил ее — горькой, какой-то словно согнувшейся в ожидании удара любовью.

Были еще женщины, поначалу даже хорошие, иногда добрые, но потом они упрекали, упрекали, упрекали... и в душе возникала пустота.

И, слава богу, со временем он получил возможность обходиться без них.

...Может быть, самая большая любовь — это работа?

Ему давно хотелось лечь, но он устало и больно сидел и курил.

Таяла ночь.

Из-за Камы едва-едва светало. Вернее, еще не светало, но у всего живого рождалось предчувствие близкого рассвета.

Бор успокоился, и песнь его была просто грустной.

Дом замолк. Ведь он был стар, как втарик, и ему требовался отдых.

А старик лег на подоконник, чтобы быть поближе к песне сосен.

...Нет у него в адрес своей судьбы особых критических замечаний, хотя она могла быть и лучше.

Могла быть и хуже.

Не в этом дело.

Просто надо выдержать свою судьбу, и ничего у нее не просить. Непоправима только смерть.

...Ночь растаяла.

Вокруг уже начинали петь птицы — понеделугу, пробуя голос. Ночная песнь бора смени-

лась утренней — светлой, наполненной ожиданием радости и покоя.

«Я честно прожил свою жизнь, — подумал старик, но от этой мысли ему не стало радостно. — Я был счастлив своим трудом. — Он вздрогнул от возмущения. — Ты еще похвастайся тем, что никого не предал, не убивал, не воровал! Был ли ты счастлив лично? Дал ли кому-нибудь личное счастье? Хоть одной женщине? Хоть одному ребенку?»

Детей у него не было. Женщины были.

...Старый дом отдохнул, начал повизгивать, поскрипывать, покряхтывать.

Солнце стало теплым.

Старик поздоровался с мухой и бабочкой, выпил глоток кофе, запил его коньяком и — раскурил еще теплую трубку.

И тут он обрадовался. Ведь была в его жизни большая любовь! Была! Он вспомнил ее сразу, в один миг, как будто она появилась рядом.

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков! — весело и громко повторил старик. И выпил еще глоток.

Охо-хо... Это была самая большая и самая первая его любовь — глупая, как ему тогда казалось, девчонка с острыми локотками, в застиранном платице, робкая на людях и отчаянная, когда оставалась с ним вдвоем. Никогда ничего она не просила, всегда была за все благодарна, богатая своей любовью. Она была его первой, и никто не сумел с ней соперничать. Все, что он узнал о женщине, о

любовном счастье, он узнал от нее, и ни одна не смогла этого повторить.

А он не понял.

И она ушла.

Или он ушел?

И долго казалось: забыл.

Забыл по-молодому, без сожаления, тем более, без укоров совести.

И пронес ее через всю жизнь. Она была в такой глубине души, что чувствовалась оттуда только как далекое-далекое эхо неизвестного голоса.

Забытая, она владела им. Она не простила ему, что он не понял ее. Она как бы растворилась в нем.

Ему казалось, что он уходит от женщины, потому что разлюбил ее, а он и не любил ее, а это она уводила его, она, его самая первая, самая большая и последняя любовь.

Не разрешила она ему никого полюбить так, как она его любила.

И все-таки она — была.

...Старик прошелся по комнате, и остатки запонки зазвенели у него под ногами.

Он куда-то торопился, но не мог понять, куда?

А он торопился доказать ей, что не зря они встретились. Он докажет ей это.

Старик сел за стол работать. Ведь он был стар, как дом, в котором он жил, и ему действительно надо было торопиться.

1964 г.

ВСЕГДА ВТРОЕМ

Они сошли с пригородного поезда на маленькой безлюдной станции. И состав сразу же дернулся и поплыл дальше, а потом застучал...

Проводив его взглядом, они пересекли раскаленные солнцем железнодорожные пути.

Впереди шел отец — легко, небрежно, как все привыкшие преодолевать большие расстояния пешком. Сын вышагивал старательно, и каждый шаг напоминал прыжок. Голову он держал запрокинутой, чтобы большая кепка не падала на глаза.

Спустившись по насыпи, они двинулись через высокую траву к тропинке, которая вела в веселую березовую рощу.

— Красиво? — спросил отец.

— Ничего, — ответил сын. Теперь он шел впереди, смотря под ноги, а отец заставлял себя смотреть по сторонам.

— Хорошо ведь, а? — спросил он.

— Ничего, — ответил сын, не поднимая головы.

Из рощицы тропинка вывела их в луга. Запах скошенной травы смешался с клейким ароматом молодого леса.

— Устал? — спросил отец.

— Не разговаривай, пожалуйста, со мной как с маленьким, — обиженно произнес сын.

— Не сердись, — попросил отец, — я и не считаю тебя маленьким. Ты у меня вообще молодец.

— Ты у меня тоже, — повеселев, сказал сын. — Только редко ты со мной на рыбалку едешь.

— Все некогда, малыш.

— Я понимаю.

К речке они подошли, когда солнце почти село.

— Серота наступает, — сказал сын, — а потом будет темнота. Вот сейчас я немного устал. А ты?

— Тоже.

Рыбы в этой речке не водилось почти, зато и рыбаков сюда приезжало мало.

— Хорошо, — произнес отец таким тоном, словно ждал возражения. — Молодец, что надумил меня поехать.

— Если бы ты всегда меня слушался! — сын улыбнулся, но тут же губенки его дрогнули; он сдержался и твердым голосом сказал: — Я за водой.

Отец стоял и слушал, как потрескивают и пощелкивают сучья под ногами сына, шелестят ветви.

Сошлепало ведро о воду.

«Нет, ты не маленький, — подумал отец. — И виноват в этом больше всех, видимо, я. Или не я».

— О чем думаешь? — спросил, появляясь из кустов, сын.

— О тебе, малыш.

— Я тоже о тебе думал. Там, — сын показал рукой на деревья, закрывавшие речку. — И вообще, я о тебе всегда думаю. Помнишь, ты приехал из командировки ночью, в грозу? А утром мы поехали рыбачить. Помнишь, вытащили вот такую сорогу?

Отец кивнул.

— А помнишь... — сын хотел удержаться от этих воспоминаний, но не смог. — Помнишь, ты подобрал на улице раненого воробья? Помнишь?

— Я все помню, — глухо ответил отец. — Пора заваривать чай.

— Наступила темнота, — сказал сын. — А утром будет светлота.

Они молча приготовили еду.

Отец налил из белой пластмассовой фляжки в стаканчик, долго держал его в руке.

— Пей, — вздохнув, сказал сын.

Отец выпил.

— А помнишь, в форточку кошка залезла? — торопливо, словно боясь, что его остановят, спросил сын. — Мама закричала, а ты дал кошке мяса, и она обратно в форточку. Помнишь?

Отец кивнул.

— Я все помню, — с виноватыми нотками в голосе сказал сын, — до мельчайших подробностей.

— Я, пожалуй, еще выпью, — полувопросительно проговорил отец.

— Конечно, — отвернувшись, ответил сын. — А почему бабушка называет тебя подлым?

— Не знаю, малыш... Видишь ли... Как бы тебе сказать?.. Она человек пожилой. У нее свои взгляды на жизнь и...

— Но ведь она очень хороший человек.

— Да, — с усилием согласился отец. — Однако и хорошие люди иногда ошибаются.

— Я знаю.

«Милый ты мой человечек. Рано же тебе пришлось жить воспоминаниями. И виноват в этом я».

— И ведь мама тоже очень хороший человек, только очень сердитая, — сказал сын. — Да?

— Конечно.

— А я? — с застенчивой улыбкой спросил он.

— Ты молодец.

— Нарвем ей завтра цветов?

— Обязательно. А ты не хочешь спать?

— Ни капельки. А ты?

— Также нет.

— Я так боялся, что мама меня не отпустит. А она отпустила. Сразу. Только очень просила, чтобы мы поймали ей хотя бы одну рыбку. И цветов просила.

— Рыбка от нас не зависит, а цветов будет много.

— А помнишь, мы ездили за подснежниками? Помнишь, первый цветочек нашла мама, потом я враз три штуки, а ты долго не мог найти ни одного?

Отец кивнул.

— Ты постарайся поймать рыбку, ладно?.. Знаешь... тут дело не в рыбке... Она просила... понимаешь? Постараемся, а?

Отец кивнул.

«Ты добрый, малыш. Тебе будет тяжело. Или наоборот — легко. Я долго считал, что быть добрым трудно. Но потом оказалось, что самое трудное — быть бескорыстным. Идти на жертву ради другого, будучи уверенным, что ее оценят — легко. Куда тяжелее быть просто бескорыстным».

— Разбуди меня пораньше, — уже совсем сонным голосом попросил сын и положил голову на колени отца. — Бабушка сказала, что от тебя нельзя ждать рыбки. Докажем ей, что можно. Ладно?

«Ты настоящий мужчина, малыш. Во всяком случае, мужественности тебе не занимать. Я-то знаю, как даже тебе с ними тяжело... Я разбужу тебя рано. Завтра у нас с тобой счастливый день. Наш день».

Отец долго смотрел на костер и когда отводил глаза в сторону, то еще мгновение как бы продолжая видеть огонь, а затем — ничего не мог разглядеть вокруг.

Сидеть было неудобно, но он старался не шевелиться. Старался даже не думать. Нога приятно онемела — голова у сына тяжелая и горячая.

«Только перед тобой я и виноват. Перед всеми другими — ровно настолько, сколько и они передо мной виноваты. И знаю: куда бы я ни ушел, что бы я ни делал, все отразится на твоей судьбе. Мы с тобой всегда вдвоем. Везде. Всегда».

Уснул он незаметно для себя, привалившись к дереву, спал недолго, но глубоко. Проснув-

шись, он осторожно подержал голову сына в руках, опустил ее на рюкзак и встал, чтобы бросить веток в погасший костер.

«Надо поймать рыбу. Сегодня я просто обязан это сделать».

Еще в полутьме отец прошел вдоль берега, спустился к омуту.

«Я должен, я обязан поймать рыбу. Рыбу, а не рыбку».

Он насадил червяков, укрепил удилища на рогульках и вернулся к сыну.

Костер пылал, и на вздернутом носу мальчишки выступили капли пота.

«Как мне не хочется будить тебя!»

— Ты уже проснулся? — спросил сын, не открывая глаз.

— Вставай, чай готов.

— А мы сегодня поймаем рыбку?

— Во что бы то ни стало.

— Хорошо поспал, — сказал сын, садясь. —

Помнишь, когда я был очень маленьким, еще в школу не ходил, ты приехал из командировки рано-рано утром и никак не мог меня разбудить?

Отец кивнул.

— Понимаешь, необходимо поймать рыбку. Она очень просила.

— Поймаем.

— Это будет здорово.

Когда рассвело, они уже кончили завтракать; собрали остатки еды, вымыли посуду, залили костер.

— Идем, — коротко позвал отец и двинулся по тропинке.

К воде они спускались осторожно — не потому, что берег был скользок от росы и обрывист, а потому, что боялись взглянуть на поплавки.

Взглянули.

Поплавки были неподвижны.

«Почему мне сегодня так хочется поймать рыбу? Потому, что этого хочет он?»

Отец несколько раз без надобности переменял червяков. Сын часто уходил побродить по берегу.

«Мы сегодня вытащим рыбу. И совсем не важно, кто из нас троих и почему хочет этого».

Солнце уже начало пригревать.

— Пойдем за цветами, а? — спросил сын.

— Нет, мы должны поймать рыбу.

— Хорошо.

«Бедный малыш».

— Давай договоримся так, — сказал отец. —

Ты делай, что хочешь, а я буду рыбачить.

Сын кивнул, но больше не уходил.

— Мне тоже хочется бросить это дело, —

сказал отец. — С удовольствием бы бросил.

Но я почему-то уверен, что будет рыба.

Сын повеселел, сказал:

— Я тоже уверен. Но просто обидно и зло берет.

Они стояли молча, не глядя друг на друга.

И обоим стало невмоготу.

— Ничего, ничего, — пробормотал отец.

А солнце уже пекло всюю.

— Ты же знаешь, — сказал сын, — что в это время клева вообще не бывает.

— И все-таки мы вытащим рыбу, — сказал отец, — потому что она нам очень нужна.

— А вдруг...

Оба поплавка враз исчезли под водой.

— Тащи... — слабым голосом выговорил сын.

Они вытащили на берег двух здоровенных рыб, сняли их с крючков, положили в корзинку и — сели в изнеможении. Отец закурил.

— Вот это да... — прошептал сын. — Обоих ей?

Отец кивнул.

Они не верили своему счастью, а может, они понимали, что не такое уж это большое счастье.

— Ока будет очень рада, — сказал сын, стараясь, чтобы голос прозвучал весело.

Потом они ушли в луга и нарвали много цветов.

На станцию они успели к самому приходу поезда.

Им казалось, что он идет слишком быстро. Сын шепотом называл остановки, и голос звучал все тише.

«Молодец, малыш, молодец».

Когда поезд загрохотал по Камскому мосту, отец сказал:

— Позвони мне в пятницу. Если тебе разрешат, мы снова куда-нибудь съездим. Можно и без удочек.

— А можно и с удочками. Ведь нам с тобой везет. Только бы отпустили. Мама-то отпустит, но бабушка...

— Отпустит и бабушка.

Сойдя с поезда, они долго стояли, словно не зная, в какую сторону идти; потом выпили газированной воды, потом съели по мороженке, потом купили в киоске «Веселые картинки».

— Погуляем? — спросил сын.

— Нельзя, малыш, — ответил отец, — дома о тебе волнуются.

Он посадил сына в трамвай, и пока вагон не тронулся с места, они улыбались друг другу, будто ничего и не случилось...

1964 г.

ДУША НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

— На меня слово «женщина» не действует, — задумчиво проговорил Егор, то ли прислушиваясь к вою поземки за окошком, то ли ожидая, что Варвара удивленно вскинет густые, почти лохматые брови. — Без выражения оно, это слово, вроде бы даже и нерусское. Вот есть другое слово про то же самое — «баба». Оно хорошее. Его по-разному сказать можно. И выругаться, и приласкать. Так вот, не бабы ты, Варвара. Слышь? •

— Второй уж час тебя слушаю, — с насмешливой покорностью отозвалась она и, шумно зевнув, повернулась к нему спиной.

— А и ладно, — спокойно сказал Егор, — тебя со всех сторон разглядывать приятно. Хоть так, хоть как.

Сидели и смотрели в окошко, за которым ничего не было видно.

— Кто ж я, по-твоему? — не выдержала Варвара. — Кто, если не баба?

— Черт тебя знает, по правде говоря. Я вот питаю к тебе... ну, чувства там всякие. По душе ты мне. Впритык. И все ж таки не могу я к тебе, как к бабе относиться. Впритык-то впритык, душа в душу, а поскрипывают... наши отношения.

— От тебя все зависит, — словно мимоходом посоветовала Варвара.

— Если бы от меня... Ничего от меня как раз и не зависит.

— От меня, что ли?

И даже по ее широкой спине Егор понял, что Варвара усмехнулась.

— Смешно, конечно, — согласился он, но... это-то ерунда. А вот муторно мне...

Она резко повернулась к нему и сказала, отчетливо выговаривая каждое слово, как глухому:

— Домой иди. К жене. К детям. Нечего тебе здесь делать.

А Егор, помолчав, продолжал свое:

— Вроде бы ты нормальная. Все в тебе женское, то есть вроде бы и бабье... А... и еще что-то в тебе есть. Люблю я, к примеру, с тобой толковать. И не как с бабами треплются, а...

— Иди, Егор, домой. Ждут ведь тебя. Анна волнуется, сердится, нервничает. — И опять даже по спине ее было заметно, что Варвара насмешничает, хотя и не очень весело.

— Волнуется, сердится, нервничает, — не то уныло, не то поддерживая насмешку, согласился он. — А ты знаешь, как я на ней женился? Как многие, верно, женятся. Морально. И мучаюсь я из-за того, что кто-то эту самую мораль выдумал. То есть подошло время, скажем прямо, мужчиной стать. Культурно выражаясь, сил во мне было лишка. Кровь кипятком кипела. Мне бы погулять на полной скорости, успокоиться бы... Да разве можно?

Да разве положено? Я ведь с детства моральный человек. Мне, брат ты мой, только законный брак подавай по всем правилам. Ну, а раз такое, я уж на весь ихний женский пол с этой точки зрения смотрю. Шелестит мимо платьице, а я думаю: не моя ли будущая законная супруга топает? Тут Анна встретилась. А могла бы и другая... То есть тогда-то мне казалось, — уже серьезно говорил Егор, — что я чувство любви испытываю. А на самом деле — потребность плюс мораль минус умная голова — получился законный брак... Одиннадцать годов, как под пилой деревья, повалились. Только дерево-то с шумом падает, а мои-то семейные годы мягко так шлепались. Плашмя.

В черных, навывкате глазах Варвары был тоскливый и напряженный вопрос: «Мне-то зачем это рассказываешь?»

А Егор уже не ей рассказывал, а будто самому себе, и смотрел уже не на нее, а в окошко, за которым ничего не было видно.

— Должен я домой идти. Это мораль. Законная мораль. А то, что душа моя, как тракторная гусеница о камень лязгает, это никого не интересует. Ни жену, ни тебя, ни мораль — никого... А ведь горе у меня. Важное горе. Пить если бы я начал, или захулиганил, или спутался с какой-нибудь, тут бы меня ублажать стали, перевоспитывать то есть. Младшего сразу бы в детясли, без очереди. Меня бы в дом отдыха или санаторий. Льготы, словом. Чтоб я опять моральным стал... А когда душа не на месте, это никого...

— Чего ж тебе от меня надо? — уже сердито спросила Варвара.

— Если бы знал... Тоска меня обгладывает. Поедом ест. Хоть бы Анна меня понимала! Нет. Другого она человек полета. Я ведь не жалуюсь, что она плохая. Для меня она не подходит. И я для нее не тот.

— А для кого ты — тот? И которая для тебя — та?

— Человека мне надо бы встретить... Варвара при всей своей полноте легко вскочила. Глаза у нее печальные были, а сказала так:

— Хитришь ты сам с собой. И со мной хитришь. И с Анной хитришь. И ничем я тебе помочь не могу. В таком случае. Баба я всего-навсего. Понятно?

Егор удивленно вскинул рыжие брови, проговорил глухо:

— Ты... всерьез? Не ожидал я от тебя такой... точки зрения.

— Я и сама не ожидала. Вырвалось. Так меня тоже понять надо. И у меня, между прочим, душа есть. Да еще в теле.

— Да еще в каком,—мрачно добавил Егор.— Это, представь себе, я понимаю. Только в уме не держал, что ты... — Он пожал плечами.

— Судить легко, — с обидой и чуть виновато сказала Варвара. — Я бы, может, и рада другой стать, да поздно.

— Другим стать никогда не поздно. Даже в лучшую сторону повернуть можно. Мимо окошка кто-то проскрипел снегом, хлопнула дверь. Егор через плечо спросил:

— Ты зачем?

Анна неслышно шагнула в комнату, постояла, заговорила, словно успокаивая:

— Ребятишек я спать уложила. Все я по дому сделала. Устала. Сажу на кухне. Вдруг вспомнила: замужняя ведь я. Честное слово. Муж ведь у меня законный имеется. Чего это я одна сажу? Непонятно. Пусть те одни сидят, у которых своих мужей нету. — И только тут посмотрела на Варвару.

Варвара спокойно, лениво даже, без усилий выдержала ее взгляд, ответила:

— Я его не держу.

— Выгони, — посоветовала Анна, — пристыди.

— Пробовала.

— А ты еще раз.

— Мне-то что? Пусть сидит.

— Конечно, — вроде бы согласилась Анна, — сидеть-то пусть сидит. Только бы...

— Могу я, — громко перебил Егор, — имею я право хоть вечером свободным быть?

— А я?

— А кто тебя держит?

— Ребятишки. Хозяйство. Совесть, — деловито перечислила Анна.

Егор накинул на плечи полушубок, за шапку взялся, но вернулся в комнату, сквозь зубы заговорил:

— Все у тебя просто. Я да муж, хозяйство да ребятишки. А у меня еще другие вопросы есть. Космос, к примеру. Меня вот интересует, какое я место в космосе занимаю? И для чего?

Анна кивнула согласно, дескать, это я понимаю, и спросила:

— А к ней зачем ходишь? Если у нее совести маловато...

— Идите вы оба, — Варвара поморщилась, — надоели вы мне оба.

— А ты... — Егор повернулся к ней, и его красноватое лицо сразу побагровело. — Ты со своей точки зрения побыстрее спрыгивай.

И ушел.

Анна радостно улыбнулась Варваре и — следом за ним.

Он шагал в накинутом на плечи полушубке; встречные понимающе ухмылялись — загулял мужик в будний день, не мог субботы дожждаться. Анна отвечала улыбкой: не беспокойтесь, хорошо гуляем, вместе, как видите.

Тяжело ей было за ним поспевать: навздевала на себя сколько налезло — знала, куда шла, нельзя было лицом в грязь.

А студёно было...

У самого дома уже Егор остановился, словно раздумывая, войти или не войти; повернулся в сторону поселка, зашептал громко:

— Я ребяташек наших не меньше, чем ты, люблю. Только, видно, другая у меня любовь. Ты чего хочешь? Чтобы они такими, как мы с тобой, выросли? Нет, брат ты мой! — крикнул он. — Не пойдет! Не выйдет! Хочу, чтоб они лучше нас были! Мы в глуши живем, до железной дороги от нас сто шестнадцать километров автобусом! Да еще лошадьми шестьдесят! В нынешнее время до луны вон добраться легче, чем до нас!

— На меня-то чего кричишь? — поинтересовалась Анна.

— Тебе хорошо потому что. Твои мечты все — вот они! Дом у тебя собственный. Огород. Коровы, будь она проклята. Свинья, чтоб ей пусто было, прорве ненасытной! Радиоприемник. Одета, обута!

— Дом у нас богатый, — весело согласилась Анна.

— А я бы его спалил! Что мне в нем?

— Ребятишки с молоком завсегда. Вот что.

— А если я сейчас головой в прорубь?!

— Ну и дурак... — Анна растерянно и жалко улыбнулась, чтобы не брызнули слезы; прикрыла лицо рукой, будто от ветра.

— Му-уторно мне, — протяжно пожаловался Егор, закинув голову, глазами к небу. — Мутит меня, понимаешь?

— Нет, — призналась Анна.

— Ну поверь тогда, раз не понимаешь. Поверить ты можешь? Можешь ты поверить?

Анна отрицательно покачала головой и заплакала тихо, без голоса, только слезами.

— Почему не можешь поверить?

— Да не верю потому что и... все.

— Ладно тогда. Я скоро приду. — И ушел.

«Хоть бы в чайную!» — подумала Анна.

А он просто так шел, никуда. В чайную бы — это хорошо. Да не поможет. И пробовать даже перестал давненько: хоть литрами зелье в себя вливай, голова все о том же соображает, а на душе еще муторнее... С Варварой бы — как с бабой, да тоже не поможет. А почему? Очнулся — стоит он у ее дома.

Коленом открыл дверь, прошел в сени, другую дверь на себя рванул, шагнул через порог и сразу услышал:

— Пожалей меня. Не мучь. Уходи.

Егор мотнул головой — шапка слетела, вперед ступил, пошевелил плечами — полушубок на пол.

— Уходи. — Варвара потянулась к нему, но Егор как бы отмахнулся:

— Не гони. Сам уйду, когда надо будет. И сядь. И сиди. И отвернись. Чтоб я глаз твоих не видел. Больно много в них... всякого.

— Тогда... зачем пришел?

— А некуда мне больше... Люблю я тебя, наверно. Очень к тому же... Да разве в этом дело?

— Человек ведь я. — Варвара вся к нему тянулась, но он стоял так недвижимо, что она только пальцами рук шевелила в воздухе, да и то боязно. — Сил моих нету...

— Жару-то в тебе сколько, — сказал Егор. — Пахнешь вся огнем-то своим... Да нельзя. Еще муторней станет. Потом-то.

Варвара, покачнувшись, тяжело отошла к окошку, спросила тоже тяжело:

— Чего ж ты от меня хочешь?

— Не знаю. Раньше вроде бы знал. Можно, конечно, и твоей точкой зрения воспользоваться. Но все равно душа на свое место не вернется. Другое ей что-то требуется.

— Тогда забудь про эту дверь! — шепотом крикнула Варвара. — Уходи! К жене своей!

— Жены моей не задевай, — строго посоветовал Егор. — Ну как ты понять не способна...

Зарыдала Варвара в голос. Всей своей красотой упала на кровать, забилась.

И не слышала, как подошел Егор, долго стоял над ней. — ну ровно над могилой, — смотрел на голубенькие жилки на белых ногах, долго смотрел — голова заболела.

— Мне, может, тебя сильнее охота, чем тебе меня, — сухим голосом выговорил он, — да... тем пустее потом-то будет. Знаю.

— Выворотень ты, выворотень! — сквозь рыдания крикнула Варвара. — Сам упал и мне жизнь придавил!

Изо всех сил хлопнул Егор дверь, чтобы не унести в ушах плач.

Шагал он по улице, держа в руках шапку и полшубок.

В волосы набился снег, а в распахнутом вороте и на лице таял.

Оделся Егор на ходу, еще больше замерз — там, внутри себя.

Может, и выворотень он. Только — что его корни выворотило? Какая сила его опрокинула?

Мимо своего дома прошел Егор, не заметил. Лишь где-то, уже за поселком, в тьме крошечной, оступившись по колено в снег, опамятовался.

Обратно почти бежал, будто вспомнил о чем-то, торопился рассказать Анне; перешагнул порог, заговорил:

— Уедем отсюда. Дом и живность продадим. В южных местах заживем. Ребятишек виноградом питать будем. Яблоками там разными.

Анна спросила:

— Разлюбил меня, что ли?

Медленно загасла лампочка под потолком — это выключили движок.

— Как же так? — снова спросила Анна, хотя Егор и на тот вопрос еще не ответил. — Все хорошо было — и вдруг... — Она машинально разжигала керосиновую лампу. — Моложе она меня, конечно. Это я понимаю. Соком налилась, как помидор в валенке. В фигурах вся. Но ведь мы с тобой сколь годов...

— Выслушай меня по-доброму, — попросил Егор, все еще не садясь. — Только оба уха раскрой. Закрутилась ты в этом... домашнем быту. А не это счастьем называется. Не дом, свинья, корова, муж, ребятишки... Земля-то планета! Она в мировом пространстве вертится! Круглая она! А для тебя она плоская. И на месте стоит, не движется. На ней дом твой собственный. Твоя свинья пяточком ее роет. А вот доживем мы с тобой, предположим, до коммунизма. И дома у всех будут бесплатные, и коровы автоматические, свиньи — тоже автоматы. Что тогда делать-то будешь? Об чем думать? Чем заниматься-то будешь, спрашиваю? — Сказки твои слушать, — сощурился и без того узкие глаза, ответила Анна и резко оттянула бусы на груди, будто душили они. — А этой я тебя не отдам. Уж и не знаю, что сделаю, а...

— Да не о том я! Не о том!

— А я о том. Ты с одного бока жизнь разглядываешь... — и не сдержалась Анна, зарыдала вся. — Корова ему не нравится! Земля у него в мировом пространстве вертится! Свинья ему

поперек горла стала! Да при таких, как ты, таким, как я, одна только и надежда: ждать, когда коровы автоматическими будут! А пока мы сами заместо автоматов! Белье-то после бани чистое просишь? А постирал кто? Есть после работы тебе требуется? А кто сготовил? Вот когда ты в чистое переоденешься, поешь, у теплой печки сядешь, вот тогда тебя в космос и тянет!

Егор разделся, сел... Думал, выревелась жена, выкричалась. А она снова начала:

— Нас, баб, уважать надо. И жалеть. Мы на сколь лет раньше вашего снашиваемся? Ты сначала дома коммунизм построй, а потом — в мировом пространстве. Тебе за твой труд хоть Доска почета, а мне за мой — что? Доведут нашего брата, а потом хвост трубой. В космос! И старые мы, и характер у нас не тот. А я тебя спрашиваю, — сухо, без слез уже выкрикнула Анна, — ты меня молодую взял, получше была, чем эта, нынешняя! Где ж все растерялось? Ребятишек я кому родила? Морщины вот эти кто мне сделал? Кому все отдала? У меня в глазах темнится, до того я несчастная! А ты гуляешь себе, вопросы выдумываешь... — И даже голос у нее потерялся, замолчала.

— Не враг я тебе, Анна, — сказал Егор и опустил голову — до того в ней тяжело было. — Беда со мной. У нас с тобой беда.

— Выворотень ты, — хрипло сказала Анна. — Выворотень и никто больше.

Равнодушно тикали ходики. И давно в доме других часов несколько штук, а эти выбрасы-

вать жалко — все одиннадцать лет семейной жизни оттикали они.

— И ты права, — сказал Егор, вставая, — и я прав. Вот и надо разобраться... Я с ребяташками лягу.

— Я знаю, — сказала Анна.

...Не помнит уж Егор, когда разучился легко засыпать. Раньше-то голова в лежащем положении только о всяких пустяках думала, а сейчас только прикоснется к подушке — и хоть вскакивай тут же да бегай: до того острые в нее мысли залезают. Или тяжелые — так придавят, что охота голову руками потрясти...

Каждую ночь вспоминает Егор свою жизнь и каждый раз удивляется. И каждый раз не понимает, что такое с ним стряслось? Чего он потерял?

А когда-то характер у него веселый был. И в лес-то он работать из-за этого характера пошел: ценят ведь здесь веселых людей, уважают. И еще нравилось Егору не гладко жить, а с закавыкой какой-нибудь — чтоб трудности были и все такое. А уж где закавык больше, чем не в лесу?

Поначалу, когда они с Анной мужем и женой называться стали, все с места на место, а потом ребяташки — один за другим, четверо набралось, — и стоп. Да и устали кочевать-то. Приехали вот в этот леспромхоз. Лет пять в бараке жили. Построил Егор себе дом. Хозяйством обзавелся. Трактористом знаменитым стал. И в газетах о нем печатали. Один раз много напечатали. «Секрет успеха» называлось. И портрет был.

И подумал Егор, что слишком уж он на других людей похож, исправить надо эту неувязку. И в столовой, к примеру, он теперь сидел, как в президиуме, а в президиуме — так вовсе не шевелился. Даже голос свой собственный ему разонравился, пришлось над ним поработать. Ну, выпивал. А чего ему не выпить? Плясал ведь, не дрался. Пел! Забудет, что он выдающийся, гитару вниз струнами перевернет и такое отчебучит, что жена сама еще в стакан ему подольет.

И умный был. За словом в карман не лез и зря словами не бросался.

Раз в месяц книжку брал в библиотеке на современные темы, брал и технические, и политические, но эти для вида. Сравнивал себя с теми, про кого книжки пишут. Получалось, что он не хуже всех, а иных и лучше.

Об чем было беспокоиться?

Дважды в область на курсы ездил, а пленумы, совещания, активы и — не сосчитать.

Ну и для полноты характеристики: кой-какие грешки случались, но так — мимоходом, больше из интереса, чем по потребности.

А главное—душа на своем месте была. Ничего ее особенно не волновало. Жизнь простой выглядела, как мотор трактора, с закрытыми глазами мог ее наладить, если в ней что-нибудь поскрипывать начинало.

Да и привык ко всему. Кому глушь-глухомань, а ему нравилось. Тем более, телевизор обещают. Чего еще надо? Если в Москве знаменит, то не каждый, конечно, тебя в лицо знает, а в поселке — каждый пацан даже.

Рыбы в озерах — ведром черпай, если лень червяка на удочку насаживать. В лесу птицы, зверья — только знай, с которого конца ружье стреляет.

Да и вообще — кому что. Кто в академиках, а кто и в лесу должен работать. Тем и другим за труд — почет.

Главное, чтоб душа на своем месте...

А тут — сдвинулась... далеко куда-то... Кто ее вспугнул? Что? Когда?

Одно ясно: надолго.

Если не навсегда...

Вот незадача...

...Егор в темноте прошел на кухню, взял в кармане полшубка пачку, зубами вытащил папироску, на столе нащупал коробок, послушал тиканье ходиков, чиркнул спичкой, прикурил и — увидел Анну.

Она по-прежнему сидела у стола, неподвижная, будто спала с открытыми глазами. Только бусы сняла и перебирала их.

— Чего ты? — испуганно, вздрогнув от жалости, спросил Егор, не ощутив, что спичка сгорела до пальцев.

Погасла.

— Сижу вот, — тихо из темноты ответила Анна, — сижу, об себе думаю.

— Ложись давай.

— Молчи-ка лучше. Раз сказать нечего.

— Так ведь...

— Не впервой ведь мне. Привычная я к этому.

— Не уйду я от тебя, — еле выговорил Егор, — и думать об этом брось. Уедем отсюда. В новом-то месте, может, все заново...

— Вот сидела я тут, — не слушая, видимо, его, сказала Анна, — и знаешь, об чем переживала? Об тебе. Мне бы об себе, а я... Заедит она тебя. И любить не будет. И уважать не будет. И обидно мне за тебя. Расстроилась я вся. Она замолчала. Постукивала бусами.

У Егора замерзли ноги, он грел их одну другой; еще ходил за папироской, но когда прикуривал, на жену не взглянул — боялся, что опять жалость за сердце схватит.

А вместо жалости — стыд кольнул.

Две-три затяжки, и во рту горько стало; раздавил папироску, пальцы обжег.

— Может, не тянуть? — будто самую себя спросила Анна. — Может, выдержу? Вдруг и не так уж страшно? Выживают ведь другие.

— Ерунду говоришь.

— Нет, не ерунду. Раз не кричишь.

— Все к тому свела, что меня будто к другой потянуло. Будто бы меня больше ничего не интересует. Неужели все к этому свела? Только к этому?

— Ага. — Анна встала. — Думай давай, Егор, да решай... Я мешать не буду. Бессильная я против. Помогать умею, а больше ничего не умею... Я с ребятишками лягу. — И неслышно ушла в комнату; оттуда шепнула: — Долго-то не сиди.

Рванулся Егор позвать жену, но не позвал. Встал он, сунул холодные ноги в валенки, вернулся к столу, покатал бусы.

Сел.

...Лет этак несколько назад не сидел бы он вот таким методом, в подштанниках ночью на кух-

не. И не казалась бы ему Варвара особенной какой-то, миловался бы с ней — долго ли дома соврать, что на сверхурочной работе был? А сейчас — врать разучился. Даже себе врать — не получается... Лето бы если, сел бы на мотоцикл, газанул бы. Проветрился. А раньше еще проще — к Таньке, завмагазином, разбудил бы, зеленую московскую или белую столичную в карман — и под огурчик... Ничего ему теперь не надо!

И Варвара его не спасет, хоть ноги у нее белые — до рези в глазах...

И Анна не спасет...

Сердце, черт с ним, пусть скручивается, а вот душа не на своем месте, и из жизни столовский шницель получается — это хуже...

Егор пошел, прислонился спиной к теплой печке. Долго не мог согреться. У Варвары в домике всегда жарко. Сама она сюда из южных мест перебралась, а во двор за дровами выходит в мороз, платка на голову не накинет...

А если все от того, что голова у Егора пустая? Завелась в ней пара вопросов, и перекатываются они в ней, как в бочке. И ни ответа на них, ни привета.

И опять же: если уж совсем она пустая, голова-то Егорова, тогда чего она напрягается? Гудела бы на здоровье, а то сама себе вопросы задает, мучается.

Вот почему один академиком работает, а другой — в лесу? Не в том дело, у кого зарплата больше, а опять же — в голове. Головы-то ведь разные! Почему моя других хуже?

Приезжал тут один. Работник называется, но научный. Егор еще схохотнул: научный работник — придумают тоже!

Дрова она колола, наука-то, чтобы согреться—умора!

Но дрова колоть научить можно, а чего научный работник в науке умеет, Егору и не узнать.

Чего ж хохотал?

А приучили.

Передовым называли, значит, он — впереди всех. Приятно. Не зря живешь, значит.

А в душу влезло беспокойство. Нехорошее такое беспокойство, с мутнинкой. Чем же ты лучше других? Написали ведь про тебя в газете, что никакого секрета в твоей работе нет. Весь секрет в том, что ты работу любишь. Да и как иначе-то? Это все равно, что есть, пить и все такое прочее, без чего не проживешь просто, помрешь.

Мало стало для души такой работы. Голова-то во время нее не особенно занята, прямо скажем. Получалось: работа идет сама по себе, а голова сама по себе об другом думает.

— Ты бы лег, Егор, — услышал он тихий голос Анны, — на смену уж скоро.

— Не спится, — виновато отозвался он, — я отгул выпрошу, у меня их штуки две накопилось.

Спине было жарко, а плечи, ближе к груди, озябли. Егор и повернулся — будто обнял печь.

Сергея Пустовалов, тоже с Доски почета, в чайной как-то подсел к Егору и давай орать:

мы-де с тобой да мы-де с тобой, уж такие-то мы, да никто нам и в подметки не годится. Куражился парень — а с чего? У Егора же хмель из головы вон: будто на самого себя со стороны внимательно посмотрел.

То, что Серега работал — как наотмашь бил, ладно. От него на работе пар валил, когда он деревья валил. Красиво, помимо всего прочего, у него получалось. Ну и что?

А его за труд с такой силой хвалили, что спился от гордости парень. Вот его выворотнем и звали.

Выворотень... Стояло, значит, огромное дерево, краса и сила, надо всеми высилось. А под ним бормотал, предположим, ручеечек. Бормотал, бормотал сколько-то там лет... Влажная земля стала, рыхлая, еле-еле держатся в ней корни. А ничего — стоит дерево, краса и сила, надо всеми высится. Да вдруг как — корнями в воздух! Упало... Живое еще будет лежать, зеленое, а — уже мертвое. А ведь ни червоточинки в нем не было. Гнить оно начинает, когда уж повалится...

...Нагрелась грудь, аж сердцу тяжело стало... И Варвару-то он заприметил скорей всего для того, чтоб с ней от головы своей спрятаться. Голове там делать нечего, другие детали требуются.

Тосковать он о ней будет много. Она — тоже ручеечек, тоже свалить может. А свалишься — не встанешь.

«Не сердись на меня, — попросил ее Егор, — не сердись. Знаю: не любят такие, как ты, ох, не любят, когда их не любят!»

Сам ты во всем виноват. Позарился на пустяк, а душа большой разбег взяла... Она летать собиралась, а ты ее прыгать заставляешь — с кочки на кочку...

...Мимо прошла Анна, запозвякивала ручкомойником.

— Спала хоть немного? — спросил Егор.

Волоски в лампочке под потолком покраснели, и она зажглась.

Егор подошел к ходикам и одним движением подтянул гирю до предела.

В голове у него было тяжело и ясно.

— Попроси отгул-то, — сказала Анна.

— Никакого отгула я просить не буду, — ответил Егор. — Не заработал еще.

1964 г.



ТЕТРАДЬ
СЕДЬМАЯ



МАМИНО СЛОВО

Начать, пожалуй, придется с того, что я не поздравил маму с днем рождения, и — как потом оказалось — последним ее днем рождения.

Верно, это — самый горький рассказ из всех, какие я написал и еще напишу, но и самый необходимый, по крайней мере, для меня.

В который уж раз заново переживая все, я мучительно ищу и в конце концов нахожу настоящие причины и неумолимый, ясный смысл многих, может быть, самых главных событий моей жизни.

Занятие сие подобно оперированию без наркоза, зато в итоге всегда приносит исцеление. Ведь если даже с большим опозданием поймешь, что непоправимо ошибался, острое сознание вины сменяется уверенностью, что таких ошибок у тебя никогда не будет.

И надо обязательно много страдать, чтобы кому-то, хотя бы одному человеку, помочь избавиться от страданий или миновать их.

Тем более, надо много верить, чтобы кому-то передать хотя бы часть этой веры.

Рука плохо слушается. Она пытается бежать по бумаге в ритме моего бухающего сердца. И буквы из-за этого получаются большими,

словно я пишу эскиз плаката. И еще мне кажется, что будто пишу не я, а кто-то другой — и взрослее меня, и откровеннее...

Да и весь рассказ непривычен. Я долго прятался от него, долго изобретал всяческие причины, чтобы он не появился на свет; предчувствовал ту высокую цену, которой расплачусь за необходимость поведать о своей беде. Но понял: надо разорвать грудную клетку, показать другим, какое неизбывное горе в твоём сердце — для того, чтобы хоть кого-нибудь спасти от этой опасной операции.

Так вот, я не поздравил маму с днем рождения. Когда я уже вернулся из Москвы, спросил о мамином здоровье, просмотрел скопившуюся за полмесяца почту — я все еще не поздравил, все еще забывал...

И тут мне напомнили и сказали, что этого простить нельзя...

Конечно, почти до утра я не спал. Лежал и думал: как же так получилось?

И — непростительно...

Понятно, с какими чувствами шел я назавтра к маме. В голове вертелись и стукались друг о друга десятки самых нелепых оправданий, самых убедительных правд и примитивных лжей.

Особенно мне мешала коробка московских конфет, которая, конечно, ни к чему.

Ведь мама лежала на исследовании в онкологическом диспансере. И в эти самые дни решалась ее судьба: рак или нет?

А я...

Ведь я действительно просто забыл о ее дне

рождения! И это мне показалось тогда таким несусветным, каким сейчас кажется предельно понятным.

Мама, когда я протянул ей коробку конфет и начал что-то там бормотать о своей забывчивости или что-то врать со стыда, остановила меня жестом: дескать, пустяк, сынок.

И правда — да мало ли чего она мне в жизни прощала! Как говорится, дал бог сыночка. Не перечешь, сколько я доставил ей горя, сколько здоровья отнял, хотя уверен (не боюсь обвинений в нескромности), что и радостей ей от меня было немало.

Так вот, остановила она меня жестом: дескать, пустяк, сынок.

А около шеи, на предплечье приклеен кружочек марли — отсюда и брали ткань на исследование, на смертный приговор.

Но мы тогда ничего не знали. Мы узнали другое: выписывают!

Даже предчувствия беды не было. Даже в голову не приходило, что жизнь будет, что солнце будет, что небо будет, что мир будет, а мамы — не будет. (Когда человечество изобретет бессмертие, пусть первым дадут его мамам).

Видимо, я решил напомнить своим рассказом, что матери смертны? Ведь многие забывают об этом. Всё собираются сделать их счастливыми, да всё не успевают...

И я до самого последнего момента не верил, что моя мама может умереть, как временами не верю и сейчас, что она умерла. И ничто меня не разубедит, даже то, что я сам слы-

шал ее последний вздох, даже то, что сам еще в утро похорон забил крышку гроба, чтобы никто не видел маму страшно изменившейся, даже то, что я сам видел и слышал, как об эту крышку стучали комья мерзлой глины, даже то, что около ее могилы зеленеют кусты сирени и акации...

Помню радостную маму, которой сказали, что у нее катар дыхательных путей или что-то вроде этого.

А нам сказали: рак левого легкого.

И еще сказали: будьте актерами, играйте роли людей, у которых дорогой человек страдает не раком левого легкого, а катаром дыхательных путей или чем-то вроде этого...

Я привез маму к себе на новую квартиру. И суждено было этой квартире стать больницей для мамы, а мне и близким — сиделками. И очень помню: за двадцать девять дней до смерти, в мой день рождения мама вроде бы и не болела...

Потом стало хуже и хуже...

Окружат меня на кухне старые мамины подруги, спрашивают:

— Что с ней?

А я вру.

Отец спрашивает меня:

— Так что же с ней?

А я — вру.

Мы держались тем, что не верили в смерть. Пусть было худо, жутко, неважно — не верили. Иначе бы не выдержали.

Днем мама еще понемногу спит, а ночами — нет. И надо всю ночь разговаривать с ней.

А ночь одна за другой, одна другой длиннее, а дышит-то мама с трудом, она умирает, — и о чем говорить?

Вот тут впервые в жизни мне пригодилась моя профессия. Уж сколько я сочинил за эти ночи! Если я и сделал чего-нибудь в жизни доброго, так эти сочинения.

Да и все, кто был рядом. Ни одной ноткой голоса ни один не выдал страшной тайны.

А внутри все то обрывалось, то перевертывалось, то застывало.

— Летом в деревню поедем, — говорит мне мама, — в деревне я, конечно, поправлюсь.

«Да какая там деревня?!» — хотелось кричать.

— Давай подышим, — говорит мама, я подаю кислородную подушку.

Сигарету не удавалось выкурить целиком. Только затанусь пару раз и — бегом из кухни в комнату: удушья наступали внезапно.

И как-то ночью я вспомнил тот ноябрьский день, когда забыл поздравить маму с пятьдесят восьмой годовщиной ее жизни.

Удивительно: в Москве лил дождь. Я мог бы бесконечно описывать этот день: до того я его запомнил!

Я бродил по улице Горького, не заходя в магазины (денег у меня не было), и не понимал, что мне мешает вернуться в гостиницу, где в номере шумят молодые поэты; думал о том, что вечером позвоню сестренке, спрошу о маме...

И вдруг понял: пока нельзя уходить из-под дождя. Дело в том, что во мне рождался

рассказ, тот самый, который давным-давно жил во мне, неясный, далекий, но — жил. И вот сейчас, в самой неподходящей обстановке, он начал рождаться. Да так стремительно, что я ускорил шаги. Будь на улице стол, а у меня карандаш и бумага, я бы тут же под дождем написал этот рассказ.

В голове складывалась фраза за фразой — как плата за долгие месяцы, когда я изводил себя, домашних и друзей нелепым поведением, сам не зная, что меня-то изводит рассказ. А я давно не писал рассказов, был уверен, что больше мне и не написать...

Обо всем этом я — не с целью оправдаться, теперь это никому и не надо. Я о другом. Рассказ-то был о смерти, о том, как у одного хорошего человека умер самый близкий человек... Вот оно как.

И не написал я пока рассказа, который родился под ноябрьским дождем на улице Горького в Москве, а пишу вот этот...

Мама, конечно, ничего не знала о том, что произошло со мной в ее последний день рождения, но, как всегда, сказала: не волнуйся за меня, думай о себе...

А как много сил мы тратим, требуя к себе внимания, скрупулезно подсчитывая, где и сколько его недополучили! И даже любовь бывает такой, что только успевай ей доказывать, что любишь. А то и друг идет, и уже знаешь: сейчас дружбы требовать будет... Душевного бескорыстия не хватает нам на каждом шагу. Мало еще отдаем, не прося взамен ничего.

Пока это умеют делать только матери.
...Уколы, микстуры, таблетки, порошки, пилюли — для того, чтобы продлить мучения. А помогали только кислородные подушки. Мама таяла и таяла.

Седая, старенькая, лежала она передо мной, руки уже невесомые, сухие, ласковые... И как хотела жить! И я думал: в сырой подвал, на хлеб и воду — если бы выжила! И на черта мне сдалась эта квартира, эти удобства...

Мамина жизнь заново проходила передо мной в ее подругах и сослуживцах по разным работам. Явится человек, вспоминаешь, вспоминаешь — а, это во время войны они с мамой вместе работали. А это из Союзпечати... а это из книготорга... из бибколлектора...

А мама принесенные ей яблоки отдает внукам, компоты там всякие тоже больше ей не нужны.

Ничего ей не нужно было, кроме обыкновенного воздуха.

Таяла и таяла...

Обидно: ко времени, когда мы начинаем замечать женскую красоту, мамы наши успевают постареть. Помню, я с удивлением обнаружил, что моя мама была красивая. Но узнал я об этом по фотографиям давнишней давности.

К чему все это вспоминаю я — понятно. Но для чего я об этом пишу? Для кого? Может, для сына? Для всех сыновей? Может, хочу высказать обыкновенную, всем известную истину — цените, любите мам?

Главное — берегите!

Я не берег.

И хорошее для нее делал, и любил, но — не берег.

То времени не находил, чтобы забежать хотя бы ненадолго. А то и позвонить будто бы было некогда. (Не хотел бы я, чтобы мой сын относился ко мне, как я иногда к маме!)

А ведь каждый день я мог прибежать к ней и услышать то, чего больше никогда не услышу: — Здравствуй, сын...

И сам я больше ни разу в жизни не скажу:

— Здравствуй, мам...

Кто-то и не поверит, но рядом с умирающей мамой, когда она ненадолго засыпала днем или ночью, я писал. Мне так мечталось закончить новую книгу при ней!

И я успел.

И даже тут мама осталась мамой. Читать она уже не могла, а мою рукопись осилила. Читала она понемногу, несколько дней; перевернула последнюю страницу и сказала только:

— Прочитала.

Заставила себя прочитать, сколь трудно ни было. Да и не читала, а просто водила глазами по строчкам...

Тогда я и подумал впервые, что мою нелегкую профессию подарила мне мама. Она ведь всю жизнь, как теперь говорят, работала с книгой. Иначе откуда бы взяться, будь оно неладно, желанию писать?! Литературу я в детстве любил до того, что воровал книги в мамином магазине. В жизни меня пороли трижды и два раза из них за воровство книг.

Уму непостижимо! Дома-то книг всегда было много.

...Мучается мама, так мучается, что и я начинаю временами хватать воздух, словно и мне его недостает.

И начал приползать ко мне страх. Всегда неожиданный, короткий и холодный.

Укол страха...

А вдруг как сорвется с ее языка слово какое-нибудь, горькое для меня слово? Или упрек? Как же я жить останусь, если услышу от нее сейчас то, в чем я действительно виноват? Ведь поводов для этого более чем достаточно!

Вот тут-то меня и колот страх.

Любила она меня по-всякому. И светлой была ее любовь, и жертвенной, а иногда и горькой: все знают, что материнские чувства и прозорливы, и слепы.

...А рак пошел в последнее наступление.

Лежать мама могла только на правом боку.

Задышалась все чаще и чаще.

Помутился рассудок.

Это жутко, когда ничем не можешь помочь.

Не представлял я раньше, что это так. Привык ведь к ней, живой.

Держимся мы с ней за руки, и — ни единой жалобы, ни одного упрека... Нас слишком часто и много ругают, слишком часто перечисляют наши ошибки, не прощают... Вот тут-то и спасает нас мамино слово.

Я не услышал от нее последнего слова, да его и не надо. Я его знаю. Каким бы оно ни было, оно — мамино. Значит, доброе.

И когда мне бывает трудно, совсем трудно, когда никто не хочет или не может мне помочь, я вспоминаю о том, что я потерял; и мне хочется стать лучше, чем я есть. И ко мне возвращаются силы.

Ведь случилось так: солнце есть, небо есть, я есть, а мамы нет.

И не будет.

А ей еще приветы передают. Может, еще письма придут на ее адрес.

А во мне с каждым днем все сильнее растет любовь к маме, та любовь, которую я не успел передать ей.

Как, оказывается, много я потерял...

1964 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Тетрадь первая

Случайный спутник	7
Война прошла	12
Слышишь, друг	18
Чужое горе	23
Костер на том берегу	31
Чистое тело	37
Самое длинное мгновение	42

Тетрадь вторая

Почему плакала девочка	49
Ливень давно утих	56
Этот красивый моряк	62
Архип	69
Толстая тетя в голубом халате	75
Дед	81
Веточка	87

Тетрадь третья

Петровна	93
Соперницы	100
Враг души моей	106
Две чашки кофе	115
Добро	121
Мадонна	127
Никифоров	133

Тетрадь четвертая

Гул дальних поездов	139
Один день из жизни Ивана Шамякина	148
Начало сказки	159
Феня	166
Желтая королева	174
Бывший капитан	181

Тетрадь пятая

Разбойница Нюрка	191
Опавшие листья	201
Чистые звезды	208
В затоне	216
Заваруха	224

Тетрадь шестая

Старик и его самая большая любовь	235
Всегда втроем	251
Душа не на своем месте	260

Тетрадь седьмая

Мамино слово	281
------------------------	-----

Лев Иванович Давыдычев

ДУША НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Семь тетрадней рассказов

Подписано к печати
30/VIII 1965 г.
Формат 70×90 1/32
4,5625 бум. л., 9,125 п. л.
(усл.-прив. 10,68 л.)
уч.-изд. 9,228 л.
ЛБ05658 Тир. 15 000 экз.
Цена 38 коп.
2-я книжная типография
управления по печати
г. Пермь, ул. Коммуни-
стическая, 57. Зак. 1291.

Редактор Р. П. Белов. художе-
ственный редактор М. В. Тара-
сова. Технический редактор
Т. В. Дольская. Корректоры
И. Л. Пархомовская и
Е. П. Божанова.